

ФРАНЦ
КАФКА



ПРЕВРАЩЕНИЕ

*... от спокойного размышления толку гораздо
больше, чем от порывов отчаяния.*



Книга на все времена (АСТ)

Франц Кафка
Превращение

«Издательство АСТ»

УДК 821.112.2-32(436)

ББК 84(4Авс)я44

Кафка Ф.

Превращение / Ф. Кафка — «Издательство АСТ», — (Книга на все времена (АСТ))

ISBN 978-5-17-159140-3

В сборник вошли наиболее известные «малые» произведения Кафки разных лет, позволяющие читателю взглянуть на творчество Кафки в двух «крайних» его проявлениях. С одной стороны – сюрреализм и абсолютное выражение в слове темной, безжалостной «абсурдности бытия». С другой – произведения прозрачно-философичные, изысканно-тонкие и отличающиеся своеобразной «внутренней умиротворенностью». Таков Франц Кафка – очень разный, но всегда – оригинальный...

УДК 821.112.2-32(436)

ББК 84(4Авс)я44

ISBN 978-5-17-159140-3

© Кафка Ф.

© Издательство АСТ

Содержание

Описание одной схватки	6
Приготовления к свадьбе в деревне	30
Отказ	41
Приговор	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Франц Кафка Превращение

Книга на все времена

Перевод с немецкого



Издательство
АСТ

© Перевод. С. Апт, наследники, 2017
© Перевод. Ю. Архипов, 2017
© Перевод. М. Рудницкий, 2017
© Перевод. В. Станевич, наследники, 2017
© Перевод. В. Топер, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Описание одной схватки

И в одежде бродят люди Там по берегу бесцельно, И под небом, что простерлось От одних холмов далеких До других холмов вдали.

I

Около двенадцати часов некоторые гости встали, раскланялись и пожали друг другу руки, сказав, что им было очень приятно; сквозь широко распахнутые двери они вышли в прихожую, чтобы одеться. Хозяйка дома стояла посреди залы и так изящно изгибалась, раскланиваясь, что ее платье ложилось красивыми складками.

Я сидел за маленьким столиком на трех тонких кривых ножках и потягивал бенедиктин – то была уже третья рюмка за этот вечер, – одновременно оглядывая небольшую горку пирожных, которые я сам выбрал и положил себе на тарелочку; пирожные были отменные.

Тут ко мне подошел мой новый знакомый и, слегка рассеянно улыбнувшись моему занятию, сказал дрожащим голосом: «Простите, что я нарушил ваше одиночество. Но я все это время провел в одной из боковых комнат наедине с моей девушкой. С половины одиннадцатого, то есть совсем не так уж долго. Простите, что я вам это сообщаю. Ведь мы друг друга совсем еще не знаем. Не правда ли, мы ведь только встретились на лестнице и сказали друг другу несколько любезных слов, а теперь я вдруг рассказываю вам о своей девушке, но – еще раз прошу вас – извините, счастье переполняет меня, и я просто не смог удержаться. А поскольку у меня нет здесь знакомых, которым я мог бы довериться...»

Он говорил и говорил. А я грустно поглядел на него – фруктовое пирожное, которое я как раз откусил, пришлось мне совсем не по вкусу – и сказал прямо в его раскрасневшееся лицо: «Я рад, что кажусь вам достойным вашего доверия, но огорчен сказанным вами. И вы сами – не будь так возбуждены – несомненно почувствовали бы, насколько неуместно рассказывать о любящей девушке человеку, сидящему в одиночестве с рюмкой спиртного».

Услышав эти слова, он рывком опустил на стул и откинулся на спинку, безвольно свесив руки. Но потом, согнув их, он уперся локтями в спинку стула и начал говорить довольно громко, но как бы про себя: «Мы были в комнате совсем одни – я и Аннерль, – и я ее целовал – целовал – я ее целовал – ее губы, ее уши, ее плечи».

Несколько мужчин, стоявших поблизости, решили, что мы с ним оживленно беседуем, и, зевая, подошли к нашему столику. Поэтому я встал и громко сказал: «Хорошо, раз вы настаиваете, я пойду, но сейчас глупо идти пешком на холм Лаврентия, так как еще холодно, а поскольку к тому же и выпал снег, то на улице скользко, как на катке. Но раз вы настаиваете, я пойду с вами».

Сначала он уставился на меня и от удивления даже открыл рот: губы у него были толстые, яркие и влажные. Но потом, заметив мужчин, уже вплотную приблизившихся к нам, он засмеялся, встал со стула и сказал: «О нет, холодный воздух сейчас будет нам весьма кстати, наше платье пропиталось духотой и табачным дымом, к тому же я, вероятно, слегка опьянел, хотя и выпил совсем немного, – да, мы простимся и пойдем».

Мы направились к хозяйке дома, и когда он поцеловал ей руку, она сказала:

– Я на самом деле очень рада, что ваше лицо сегодня сияет от счастья, потому что обычно вид у вас очень серьезный и даже скучающий».

Ее доброта тронула его, и он еще раз поцеловал ее руку; в ответ она улыбнулась.

В прихожей стояла горничная, которой мы до того не видели. Она помогла нам надеть пальто и взяла со стола небольшую лампу, чтобы осветить нам на лестнице. Да, эта девушка

была очень хороша собой. Шея ее была обнажена, ее обвивала лишь тоненькая бархотка под самым подбородком, а угадывающееся под просторным платьем тело красиво выгибалось, когда она спускалась перед нами по лестнице, освещая лампой ступеньки. Щеки ее рдели румянцем от выпитого вина, а губы были полуоткрыты.

Внизу она поставила лампу на ступеньку, слегка пошатываясь, шагнула к моему новому знакомцу, обвила его шею руками, впиалась в него поцелуем и так застыла. Только когда я догадался сунуть ей в руку монетку, она медленно, как бы сонно, разжала объятия, так же медленно отперла входную дверь и выпустила нас в ночную темь.

Над пустынной, равномерно освещенной улицей висела огромная луна на покрытом легкими облачками и потому казавшемся еще более просторным небе. Земля была запорошена свежим снегом. Ноги скользили и разъезжались, так что идти приходилось мелкими шагами.

Едва оказавшись на улице, я вдруг ни с того ни с сего развеселился. Стал почему-то высоко задирать ноги, так что они забавно потрескивали в суставах, потом выкрикивал какое-то имя, словно вслед свернувшему за угол приятелю, прыгал, подбрасывая в воздух и ловя свою шляпу, как бы рисуясь своей ловкостью.

Но мой знакомец как ни в чем не бывало шагал рядом, глядя под ноги и не говоря ни слова.

Это меня удивило, ибо я ожидал, что от радости он начнет безумствовать, как только избавится от зрителей. Я поутих. И едва только собрался ободряюще хлопнуть его по спине, как меня охватил стыд, я довольно неуклюже отдернул уже занесенную руку. За ненужностью я сунул ее в карман пальто.

Так мы с ним и шли в молчании. Я прислушивался к звуку наших шагов и никак не мог понять, почему мне не удастся подладиться к его походке. Это меня немного заняло. Луна светила всюду, видно было, как днем. Там и сям из окон высовывались люди, наблюдая за нами.

Когда мы дошли до улицы Фердинанда, я заметил, что мой знакомец стал напевать какую-то мелодию: пел очень тихо, но я услышал. Его поведение показалось мне оскорбительным. Почему он со мной не разговаривает? Если я ему не нужен, почему он прицепился ко мне? Я с досадой вспомнил о прекрасных пирожных, которые из-за него пришлось оставить на столике. Вспомнился мне и бенедиктин, и я немного повеселел, даже, можно сказать, развеселился. Я упер руки в боки и вообразил, будто я один и просто вышел прогуляться. Я был в гостях, там спас от постыдной сцены одного неблагодарного молодого человека и теперь гуляю при лунном свете. Весь день – в конторе, вечером – в гостях, ночью – прогулка по улице, все в меру. Абсолютно естественный образ жизни!

Однако мой знакомец все еще шел за мной, более того, он даже ускорил шаги, заметив, что отстал, причем держался так, будто это было вполне естественно. А я подумал, не лучше ли мне свернуть сейчас в какой-нибудь переулок, ведь не обязан же я гулять в его обществе. Я мог идти домой сам по себе, и никто не имел права чинить мне препятствия. Дома я зажгу настольную лампу на железной подставке и сяду в кресло, стоящее на потертом восточном ковре. Подумаю так, я почувствовал, как меня одолевает слабость, наваливающаяся на меня всякий раз, как вспомню, что мне придется вернуться в свое жилище и вновь провести много часов в одиночестве среди этих выкрашенных масляной краской стен, на этом полу, который, отражаясь в зеркале, висящем на задней стене, кажется наклонным. Ноги мои стали подламываться от усталости, и я совсем было решил в любом случае немедленно идти домой и лечь в постель, как вдруг засомневался, следует ли мне при этом попрощаться с моим знакомцем или нет. Но я был слишком робок, чтобы уйти, не попрощавшись, и слишком слаб, чтобы громко крикнуть слова прощанья, поэтому я опять остановился и, прислонившись к освещенной лунной стене какого-то дома, стал его поджидать.

Он догнал меня бодрым шагом, но казался слегка озабоченным. При этом он еще что-то на себя напускал, подмигивал мне, вздевая руки к небу, вытягивал в мою сторону шею, вертел

головой, увенчанной черной шляпой, желая, видимо, показать, что оценил по достоинству мою шутку, которой я хотел его развеселить. Растерявшись, я только тихо сказал: «Веселый вечерок выдался нынче». При этом я издал какой-то нервный смешок. Он ответил: «Верно. А вы видели, что и горничная тоже меня поцеловала?» Я не мог ему ответить, потому что в горле у меня стояли слезы, и протрубил на манер рожка почтовой кареты, только чтобы не промолчать. Он сперва зажал уши, потом в знак дружеской благодарности пожал мне правую руку. Видимо, она показалась ему чересчур холодной, потому что он сразу ее выпустил, сказав: «Ваша рука очень холодна, губы горничной были теплее, о да». Я понимающе кивнул. И мысленно моля Бога придать мне стойкости, произнес: «Да, вы правы, сейчас нам пора разойтись по домам, уже поздно, а завтра утром мне идти на работу: представьте себе, у нас в конторе можно и поспать, но делать это не полагается. Вы правы, мы пойдем по домам». При этом я протянул ему руку, как бы считая вопрос исчерпанным. Но он, улыбаясь, подхватил мой способ уходить от ответа: «Да, вы правы, такую ночь нельзя проспять. Представьте себе, сколько счастливых мыслей мы душим под одеялом, если спим одни в своей постели, и сколько горестных снов она согревает». И от радости, что сумел так ловко ответить, он схватил меня за отвороты пальто – выше он просто не достал – и начал меня энергично трясти; потом прищурился и сказал доверительным тоном: «Знаете, кто вы такой? Вы – чудак». С этими словами он зашагал дальше, и я, незаметно для себя, поплелся за ним, потому что его слова заставили меня задуматься.

Сначала я обрадовался, ибо они показывали, что он предполагал во мне нечто, чего во мне не было, но само это предположение вызывало у него уважение ко мне. От такого отношения я просто расцветаю. Я был доволен, что не ушел домой, и мой знакомец приобрел в моих глазах большую ценность, как человек, выделяющий меня из других людей без всяких усилий с моей стороны! Я посмотрел на него восхищенными глазами. Мысленно я уже защищал его от всевозможных опасностей, в особенности от соперников и ревнивцев. Его жизнь вдруг стала мне дороже моей. Я нашел, что он красив, был горд его успехом у женщин, мне как бы досталась часть тех поцелуев, которые в этот вечер он получил от двух девушек сразу. О, этот вечер и впрямь был веселый! Завтра мой знакомец будет беседовать с фройляйн Анной; сперва, как это принято, о каких-то обыденных вещах, а потом вдруг скажет: «Вчера ночью я общался с человеком, какого ты, милая Аннерль, наверняка еще ни разу в жизни не встречала. На вид он похож – как бы лучше выразиться – на покачивающуюся жердь, на которую сверху как-то косо насажен череп, обтянутый желтой кожей и покрытый черными волосами. Тело его обвешано множеством мелких, ярких и желтоватых кусков ткани, которые вчера прикрывали его полностью, ибо ночь была тихая, и ткань гладко прилегала к телу. Он робко шел рядом со мной. Милая Аннерль, ты умеешь так сладко целоваться, но я уверен, что, увидев его, ты бы и засмеялась, и испугалась; а я, чья душа растаяла от любви к тебе, я был рад его присутствию. Вероятно, он очень несчастен, потому и молчалив, и все же рядом с ним ощущаешь какое-то счастливое беспокойство, которое не кончается. Ведь вчера я был поглощен собственным счастьем и все же почти забыл о тебе. Мне показалось, будто с каждым вздохом его впалой груди вздымается твердый свод звездного неба. Линия горизонта исчезает, и под пылающими облаками взору открываются такие бескрайние дали, которые делают нас счастливыми. Боже, как я люблю тебя, Аннерль, твой поцелуй мне милее любых далей. Не будем больше говорить о нем, станем просто любить друг друга».

Когда мы с ним медленно зашагали по набережной, я хоть и завидовал поцелуям, полученным моим знакомцем, но с радостью ощущал и скрытое чувство стыда, которое он, наверное, должен был испытывать по отношению ко мне – такому, каким я ему представлялся.

Так я думал. Но мысли мои смешались, потому что Влтава и улицы на другом ее берегу были погружены во мрак. Лишь редкие фонари горели, как бы перемигиваясь со мной.

Мы с ним остановились у парапета. Я надел перчатки, так как от реки веяло холодом: потом я без всякой на то причины глубоко вздохнул, как вздыхаешь ночью у реки, и хотел

было идти дальше. Но мой знакомец неотрывно глядел на воду и не двигался. Потом он подошел еще ближе к парапету, оперся локтями о железную перекладину и уронил лоб в ладони. Я счел это глупой выходкой. Мне было холодно, и я поднял воротник пальто. А мой знакомец вдруг выпрямился и, держась вытянутыми руками за перекладину, перевесился через парапет. Пристыженный, я поторопился заговорить, чтобы скрыть зевоту: «Не правда ли, странно, что только ночь, она одна, способна полностью погрузить нас в воспоминания. Вот сейчас, например, я вспомнил о таком случае. Однажды вечером я сидел на скамье у какой-то реки. Сидел я, положив руку на деревянную спинку и склонив голову на руку, смотрел на призрачные горы за рекой и слушал нежную мелодию скрипки, доносившуюся из ближней гостиницы. По обоим берегам время от времени медленно тащились поезда с хвостом искрящегося дыма». Так я говорил, а сам судорожно старался придумать какую-нибудь диковинную любовную историю, пусть даже с грубыми нравами и изнасилованием.

Но едва я успел произнести первые несколько слов, как мой знакомец равнодушно обернулся ко мне и – как мне показалось, – просто удивленный тем, что я все еще здесь, сказал: «Видите ли, со мной всегда так. Сегодня, когда я спускался с лестницы, чтобы прогуляться перед тем, как отправиться в гости, я удивился, заметив, что при ходьбе как-то слишком энергично размахиваю руками, обрамленными белыми манжетами. Я тут же понял, что меня ждет приключение. И так со мной всегда». Последние слова он сказал уже на ходу и как бы между прочим, словно некое побочное умозаключение. Но меня оно очень тронуло, и я заволновался, не раздражает ли его моя долговязая фигура, рядом с которой он кажется недоростком. Это обстоятельство мучило меня, хотя на дворе была ночь и мы почти никого не встретили, да так сильно мучило, что я сгорбился, стараясь казаться ниже, и мои руки стали доставать до колен. Но для того, чтобы мой знакомец ничего не заметил, я менял осанку весьма осторожно и постепенно и отвлекал его внимание от моей особы всевозможными замечаниями по поводу деревьев на Стрелецком острове и отражений мостовых фонарей в реке. Но он вдруг резко обернулся ко мне и довольно мягко заметил: «Почему вы так сутулитесь? Вы согнулись в три погибели и стали чуть ли не одного роста со мной!»

Он сказал это по-доброму, и поэтому я ответил: «Может, и так. Но мне такая осанка приятнее. Видите ли, я слаб здоровьем, и мне трудно держаться всегда прямо. Это не так уж просто, ведь я такой долговязый».

Он возразил с некоторым недоверием: «Это просто ваш каприз. Ведь до этого вы держались совершенно прямо, как мне кажется, да и в гостях не сутулились. Даже танцевали там. Или нет? Но прямо вы все-таки держались и сейчас вполне можете выпрямиться».

Но я настаивал на своем и даже выставил ладонь, защищаясь: «Да-да, я держался прямо. Но вы меня недооцениваете. Я знаю, что такое хорошие манеры, и поэтому сутулюсь».

Эта мысль оказалась слишком сложной для него, ибо, поглощенный своим счастьем, он не уловил логической связи в моих словах и, проронив: «Ну, как вам будет угодно», – посмотрел на часы Мельничной башни: было уже около часу.

А я сказал сам себе: «До чего же этот человек бессердечен! До чего явно и нескрываяемо безразличен к проявленной мной деликатности! А все потому, что он счастлив, счастливые люди находят естественным все, что происходит вокруг них. Счастье наводит глянец на все окружающее. И если бы я сейчас прыгнул в воду или на его глазах в конвульсиях забился прямо здесь, на мостовой, под этой аркой, я бы вписался в благополучную картину его счастья. Более того, если бы на него вдруг нашло, – а счастливые люди, несомненно, очень опасны, – он бы запросто мог меня убить. Я в этом уверен, как, впрочем, и в том, что я трус и от страха не осмелился бы даже закричать. Боже сохрани!» В испуге я огляделся. Вдалеке, перед каким-то кафе с темными прямоугольными стеклами улицу переходил полицейский. Сабля ему немного мешала при ходьбе, и он придерживал ее рукой, так ему было удобнее. Услышав на довольно

значительном расстоянии, что он еще и напевает, я окончательно уверился, что он меня не спасет, если мой знакомец захочет меня прикончить.

Зато теперь я точно знал, что мне делать, ибо именно в преддверии ужасных событий на меня снисходит необычная решительность. Мне нужно убежать. Сделать это очень просто. Теперь, при повороте к Карлову мосту налево, я мог улизнуть через Карлов переулок направо. Переулок этот извилист, там есть и темные подворотни, и винные погребки, которые все еще открыты; так что отчаиваться нечего.

И когда мы с ним вышли из-под арки моста в конце набережной, я стремглав бросился в переулок; но, добежав до боковой дверцы в стене церкви, я растянулся, споткнувшись о ступеньку, которой не заметил. Упал с грохотом. Ближайший фонарь был далеко, я лежал в полной темноте. Из винного погребка напротив вышла толстая баба с коптящей лампой в руках, чтобы посмотреть, что случилось. Доносившаяся из погребка музыка оборвалась, и какой-то мужчина распахнул настежь дверь, которую баба оставила полуоткрытой. Он смачно сплюнул на ступеньку и, пощекотав бабу между грудей, заметил: «Что бы там ни случилось, никакого значения не имеет». Потом баба повернулась, и дверь за ними захлопнулась.

Попытавшись встать, я тут же вновь упал. «Гололедица», – сказал я вслух и почувствовал сильную боль в колене. И все же был рад, что люди из погребка меня не заметили; поэтому счел за лучшее остаться здесь до рассвета.

Знакомец же мой, видимо, дошел в одиночестве до моста, не заметив моего исчезновения, ибо подошел ко мне лишь через довольно долгое время. На его лице не было видно удивления, когда он сочувственно наклонился ко мне и мягкой ладонью погладил меня по лицу. Он ощупал мои скулы, потом притронулся двумя пальцами к моему низкому лбу: «Вы сильно ушиблись, да? Сейчас гололед, нужно быть осторожным... Голова болит? Нет? Ага, колена, так-так». Он говорил нараспев, словно рассказывал какую-то историю, причем весьма приятную, в которой речь шла о чьем-то другом, а вовсе не о моем колене, и о чьей-то другой боли. Руками он тоже двигал, но вовсе не для того, чтобы меня поднять. Я подпер голову правой ладонью – локоть при этом упирался в каменную плиту – и сказал быстро, чтобы не забыть: «Собственно говоря, я сам не знаю, почему побежал направо. Просто я увидел под аркадами этой церкви – не знаю, как она называется, о, простите, пожалуйста, – кошку. Маленькую такую кошку со светлой шерсткой. Потому я ее и заметил. ... Нет, извините, дело совсем не в кошке, но так утомительно целый день держать себя в руках. Ведь и спим мы для того, чтобы набраться для этого сил; а если не спишь, то нередко с нами случаются совершенно бессмысленные вещи; однако со стороны посторонних было бы невежливо громко выражать свое удивление по этому поводу».

Мой знакомец, держа руки в карманах, посмотрел в сторону безлюдного в этот час моста, потом на костел Святого Креста и перевел взгляд на звездное небо. Поскольку он не слушал меня, то робко сказал: «Да, почему вы молчите, дорогой; вам плохо? Да, почему вы, собственно, не встаете? Здесь холодно, вы простудитесь, а кроме того, мы с вами ведь собирались пойти на холм Лаврентия».

«Конечно, – ответствовал я с земли, – простите»; и я самостоятельно поднялся, хотя и было очень больно. Меня шатало, так что мне пришлось уцепиться взглядом за статую Карла Четвертого, чтобы проверить, прочно ли я стою на ногах. Однако лунный свет был так изменчив, что и Карл Четвертый оказался движущимся. Я очень удивился этому обстоятельству, и ноги мои тотчас окрепли – от страха, что Карл Четвертый рухнет, если я не стану устойчивее. Позже я счел свои усилия бесполезными, ибо Карл Четвертый все-таки рухнул – как раз в ту минуту, когда я вообразил, что меня любит девушка в красивом белом платье.

Я делаю ненужное и многое упускаю. Ведь какая удачная была мысль насчет девушки в белом! Как добра была ко мне – луна, одарившая и меня своим светом; из скромности я уже хотел спрятаться от него под сводами Мостецкой башни, как вдруг понял, что луна, есте-

ственно, освещает все подряд. Поэтому я даже радостно развел руки в стороны, чтобы подставить всего себя лунному свету. И тут мне вспомнился стих:

Я несся по улицам,
Словно пьяный бегун,
Оглашая топотом воздух.

И на душе стало легко, когда я без боли и усилий двинулся вперед, делая вялыми руками плавательные движения. Голове было приятно соприкоснуться с холодным воздухом, а любовь девушки в белом привела меня в состояние сладостной грусти, ибо мне казалось, словно я уплываю прочь от возлюбленной и от призрачных гор ее родины. И я вспомнил, что некогда ненавидел одного знакомого счастливица, который, вероятно, все еще находится рядом со мной, и обрадовался, что память моя так еще хороша, что хранит даже столь незначительные факты. Ибо памяти нашей приходится выносить многое. Так, неожиданно выяснилось, что я знаю названия всех звезд на небе, хотя никогда раньше их не знал. Имена были, правда, какие-то странные, трудно запоминаемые, но я знал их все до единого и в точности. Я поднял вверх указательный палец и громко произнес названия некоторых из них. Но вскоре мне пришлось прерваться, поскольку надо было плыть дальше, если я не хотел утонуть. Но чтобы мне потом не могли сказать, мол, по мостовой каждый может плавать, так что не стоит об этом и рассказывать, я одним рывком перемахнул через парапет и вплавь обогнул каждую статую моста, которая мне встретилась. У пятой статуи, как раз когда я взмахнул руками над мостовой, знакомец схватил меня за запястье. Так я опять оказался на каменных плитах и почувствовал боль в колене. Я забыл названия звезд, а о милой девушке я помнил только, что она носила белое платье, но никак не мог припомнить, какие у меня были основания думать, что она меня любит. Во мне поднялась сильная и вполне законная злость на собственную память и страх потерять эту девушку. Поэтому я стал напряженно и непрерывно повторять «белое платье, белое платье», чтобы хотя бы этим единственным признаком удержать девушку. Но это не помогло. Знакомец все настойчивее вторгся в мои мысли своими словами, и в тот момент, когда я начал их понимать, вдоль парапета скользнул слабый лучик, мелькнул в Мостецкой башне и скрылся в темном переулке.

«Я всегда очень любил руки того ангела, что слева, – сказал мой знакомец, показывая на статую святой Людмилы. – Они такие нежные, а пальчики такие тонкие, что даже дрожат. Но с сегодняшнего вечера я к ним безразличен; имею право так говорить, потому что сегодня я целовал другие руки». Тут он обнял меня, стал целовать мое платье и, наконец, ткнул лбом в живот.

Я сказал: «Да-да, я вам верю. Не сомневаюсь»; при этом я щипал его в икры ног той рукой, которую удалось высвободить. Но он ничего не чувствовал. Тогда я спросил себя: «Почему ты остаешься с этим человеком? Ты его не любишь, но и не ненавидишь, ибо счастье его составляет одна девушка, а ты даже не знаешь, носит ли она белое платье. Значит, этот человек тебе безразличен, повтори: безразличен. К тому же он еще и небезопасен, как выяснилось. Так что иди с ним на холм Лаврентия, поскольку ты все равно уже на улице, а ночь так хороша; но не мешай ему говорить и держись сам по себе. Таким манером – говорю это шепотом – ты защитишь себя наилучшим образом».

II

Развлечения, или Доказательство того, что жить невозможно

1. Скачка

С необычайной ловкостью я вспрыгнул моему знакомцу на плечи и, ткнув кулаками в спину, заставил бежать легкой рысью. А как только он начинал недовольно топтать ногами или даже останавливаться, я пинал его башмаками в живот, чтобы взбодрить. Дело пошло, и мы на хорошей скорости въехали внутрь обширной, но еще не готовой к моему прибытию местности, где время близилось к вечеру.

Проселочная дорога, по которой я ехал, была каменистая и довольно круто поднималась вверх, но мне как раз это нравилось, и я сделал ее еще каменистее и еще круче. Как только мой знакомец спотыкался, я дергал его за волосы, а как только он вздыхал, я бил его кулаком по темени. При этом я чувствовал, как хорошо на меня действует эта вечерняя скачка; придя в отличное расположение духа, я решил придать ей еще больше лихости и заставил встречный ветер сильными порывами дуть нам в лицо. Потом я стал еще и нарочито высоко подскакивать на широких плечах моего знакомца и, охватив руками его шею, откинул голову назад, так что мог смотреть на неповоротливые облака, передвигавшиеся по небу с меньшей скоростью, чем я по земле. Я смеялся и весь дрожал от храбрости. Пальто мое летело за мной по воздуху, придавая мне еще больше силы. При этом я накрепко сцепил руки и сделал вид, будто не понимаю, что тем самым душу моего знакомца.

А небу, которое мало-помалу скрылось за густыми кронами деревьев, выросших по моей воле на обочинах дороги, я крикнул в азарте бешеной скачки: «Некогда мне слушать влюбленные бредни, у меня и других дел хватает. Зачем он ко мне привязался, этот влюбленный болтун? Все они счастливы, особенно если есть с кем поделиться. Они думают, что им выпал счастливый вечер и уже от одного этого радуются предстоящей жизни».

Тут мой знакомец рухнул на землю, и, осмотрев его, я обнаружил, что он сильно расшиб колено. Поскольку я больше не мог воспользоваться им, я оставил его на каменистой дороге и только свистнул коршунам в небе, чтобы они спустились его охранять; несколько птиц покорно уселись на нем с серьезным выражением клювов.

2. Прогулка

А я обязательно пошел дальше пешком. Но пешком идти вверх по горной дороге я побаивался, поэтому дорога согласно моему желанию стала пологой и в конце концов где-то вдаль стала опускаться в долину.

Камни тоже исчезли таким же путем, ветер улегся и растворился в вечернем воздухе. Я шагал в хорошем темпе, а так как дорога шла под гору, то я задрал голову, выпрямился и скрестил руки за головой. Поскольку я люблю сосновые леса, дорогу обрамлял сосновый лес, а поскольку я люблю молча глядеть на звездное небо, то на распростертом надо мной куполе медленно и спокойно выступили звезды, как они всегда это делают. Я заметил лишь несколько облаков удлиненной формы – их гнал ветер, дувший лишь на их высоте.

На довольно большом удалении от дороги, по которой я шел, вероятно, по ту сторону какой-то реки, я пожелал увидеть высокую гору; гора тут же возникла; ее вершина, поросшая густым кустарником, упиралась в небо. Я еще мог явственно различить маленькие веточки и колыхания верхних ветвей. Как ни обычен этот вид, он меня так обрадовал, что я, оборотившись в птичку, качающуюся на ветках этих далеких колючих кустов, совсем позабыл выпустить на небо луну, которая уже ждала за горой, вероятно, досадуя на меня за задержку.

Но вот уже вершину горы залил холодный свет, предшествующий восхождению луны, и она выплыла собственной персоной из-за какого-то качающегося куста. А я, все это время смотревший в другую сторону, теперь поглядел прямо перед собой и вдруг увидел луну, светившую мне в лицо почти полным кругом: я остановился с тоской в глазах, ибо моя полого спускавшаяся вниз дорога, как мне показалось, прямоком упиралась в этот страшный светящийся круг.

Но вскоре я уже свыкся с луной и вдумчиво наблюдал, с каким трудом она поднималась по небу, пока наконец, когда мы с ней уже прошли навстречу друг другу довольно большое расстояние, не почувствовал приятную сонливость, которая, как мне подумалось, навалилась на меня из-за утомительных событий дня, о которых я, правда, уже ничего не помнил. Какое-то время я шел с закрытыми глазами и не давал себе заснуть, громко и ритмично хлопая в ладоши.

Однако потом, когда дорога стала угрожающе ускользать у меня из-под ног и от усталости все начало расплываться перед глазами, я бросился к склону справа от дороги и стал лихорадочными движениями карабкаться по нему вверх, чтобы успеть вовремя добраться до высокого и густого соснового бора, в котором собирался провести ночь. Торопиться было необходимо. Звезды уже начали гаснуть, и луна, потускнев, утонула в небе, словно в текучей воде. Гора уже стала частью ночи, дорога обрывалась на том самом месте, где я бросился к склону, а из чащи леса на меня надвигался треск падающих деревьев. Я бы мог тут же улечься на мох спать, но боюсь муравьев; поэтому я вскарабкался на дерево, обхватив его ствол ногами; дерево это тоже уже раскачивалось, хотя никакого ветра не было, лег на сук, прислонив голову к стволу, и быстро заснул, в то время как по моему капризу на конце сука появилась белочка, уселась, задрал хвостик, и стала раскачиваться.

Спал я крепко и снов не видел. И не проснулся ни при заходе луны, ни при восходе солнца. И даже начав просыпаться, я сам себя успокоил, сказав: «Вчера ты переутомился, так что поспи еще», и вновь заснул.

Но несмотря на то, что снов я не видел, сон мой сопровождался непрерывными тихими звуками. Всю ночь напролет кто-то, находившийся совсем рядом, что-то мне говорил. Я почти не мог разобрать слов, разве что какие-то обрывки фраз вроде «скамья у реки», «призрачные горы», «поезда с хвостом искрящегося дыма», и слышал скорее лишь ударение в словах; помнится, во сне я еще потирал руки от радости, что сплю, а потому и не обязан разбирать каждое слово.

До полуночи голос говорящего был до обидного весел. Я перепугался, так как решил, что кто-то внизу подпиливает мое дерево, которое и без того уже качалось. После полуночи голос посерьезнел и стал глуше, между отдельными фразами возникали паузы, словно он отвечал на вопросы, которых я не задавал. Я почувствовал себя уверенным и даже разрешил себе потянуться. К утру голос стал приветливее. Ложе говорившего, видимо, было не надежнее моего, ибо теперь я заметил, что голос его доносился с одного из соседних сучьев. Тут я осмелел и повернулся к нему спиной. Это его явно огорчило, потому что он перестал говорить и молчал так долго, что утром, когда я уже отвык от его голоса, меня разбудил его вздох.

Я посмотрел на затянутое облаками небо, не только простиравшееся над моей головой, но окружавшее меня со всех сторон. Облака были такие тяжелые, что тащились понизу надо мхом, натыкались на деревья, цеплялись за ветки. Некоторые ненадолго опускались на землю или застревали между стволами, пока сильный порыв ветра не гнал их дальше. Почти все облака тащили на себе елочные шишки, обломки веток, дымовые трубы, дохлую дичь, полотнища флагов, флюгеры и другие, чаще всего непонятные предметы, подобранные ими с земли где-то в далекой дали.

Я сидел съезжившись на своем суку и бдительно следил за тем, чтобы вовремя отвести от себя надвигавшееся облако или увернуться, если оно широкое. Для меня это был тяжкий труд, поскольку я еще не совсем проснулся, да и тревожился из-за вздохов, которые, как мне казалось, все еще часто слышались. Как же я удивился, однако, когда заметил, что чем увереннее я себя чувствовал, тем выше и шире простиралось надо мной небо; наконец, зевнув в последний раз, я узнал местность, которую видел накануне вечером; теперь над ней нависали дождевые тучи.

Столь стремительно открывавшаяся мне картина испугала меня. Я задумался, отчего меня занесло в эти места, ведь дорогу сюда я не знал. И мне показалось, что я приبلудился сюда во сне, а осознал весь ужас своего положения, только когда проснулся. Но тут, на мое счастье, послышался голос какой-то лесной птицы, и я понял, успокаиваясь, что попал сюда ради собственного удовольствия.

«Жизнь твоя была однообразна, – говорил я сам себе вслух, чтобы получалось убедительнее, – так что тебе на самом деле было необходимо повидать другие края. Можешь быть доволен, здесь весело. И солнышко светит».

Тут появилось солнце, дождливые тучи превратились в маленькие белые и пушистые облачка на голубом небе. Они сверкали и налезали друг на друга. В долине я увидел реку.

«Да, жизнь моя была однообразна, я заслужил это развлечение, – продолжал я как-то вымученно убеждать самого себя, – но ведь и опасностей хватало». И тут я услышал чей-то вздох совсем рядом.

Перепугавшись, я хотел было поскорее спуститься вниз, но, поскольку сук дрожал, как и мои руки, я мешком рухнул вниз. Удара я почти не почувствовал, боли тоже, но был так слаб и несчастен, что уткнулся лицом в землю – не мог вынести даже вида окружавших меня предметов. Я был убежден, что любое мое движение и любая мысль будут вымученными и что поэтому я должен от них воздержаться. А вот лежать на траве, прижав к себе руки и спрятав лицо, напротив, самое естественное дело. И я уговаривал себя: мне бы следовало только радоваться тому, что я уже нахожусь в этом естественном положении, ибо в противном случае мне потребовалось бы произвести множество усилий, то есть сделать сколько-то шагов или произнести сколько-то слов, чтобы его достичь.

Но пролежав так совсем недолго, я вдруг услышал чей-то плач. Кто-то плакал недалеко от меня, и я страшно разозлился. Так разозлился, что даже стал обдумывать, кто бы это мог быть. Но только я начал думать, как меня вдруг охватил такой неопишуемый ужас, что я с дивной скоростью покатился по земле в сторону дороги и весь в сосновых иглах свалился со склона прямо в дорожную пыль. И хотя глаза мои запорошило так, что я видел окружающее как бы лишь мысленно, я тем не менее тотчас бегом двинулся дальше, чтобы избавиться наконец от преследующих меня призраков.

От бега я тяжело дышал и в смятении чувств утратил власть над своим телом. Я видел, как отрываются от земли мои ноги с выступающими вперед коленными чашечками, но уже не мог остановиться, ибо помимо своей воли широко размахивал руками, словно плясал на веселой вечеринке, а голова сама собой качалась из стороны в сторону. С решимостью отчаяния я все же искал путь к спасению. Тут я припомнил, что где-то поблизости должна быть река, и тотчас, к великой моей радости, заметил отходившую вбок от дороги узенькую тропинку, которая, повиляв по лугам, и вывела меня вскоре на берег.

Река была широкая, сплошь подернутая солнечной рябью. На другом ее берегу тоже простирались луга, сменявшиеся в глубине кустарником, за которым на большом удалении виднелись прозрачные ряды фруктовых деревьев, взбиравшиеся на зеленые холмы.

Обрадованный открывшимся мне видом, я улегся на землю, зажав ладонями уши, чтобы не слышать ужасного плача, и подумал, что здесь мне будет покойно. Ибо местность была безлюдна и красива. Чтобы жить тут, не надо много мужества. Здесь тоже не избежать душевных мук, как и в любом другом месте, но не придется совершать вынужденных телодвижений. Здесь это просто не нужно. Ибо здесь нет ничего, кроме гор и большой реки, а у меня еще хватит ума не считать их живыми существами. И если я вечером споткнусь на неровной луговой тропинке, я буду не более одинок, чем гора, с той лишь разницей, что я это буду чувствовать. Но думается, и это скоро пройдет.

Так я рисовал себе свою будущую жизнь и упорно старался забыть былую. При этом я щурился, глядя в небо, окрашенное в необычайно ликующие тона. Я давно уже не видел такого

неба и, растрогавшись, стал припоминать те редкие дни, когда оно казалось мне таким же. Потом разжал уши и опустил на траву раскинутые в стороны руки.

И тут услышал далекие глухие рыдания. Поднялся ветер, и тучи сухих листьев, которых я раньше не видел, с шумом взлетели вверх. С фруктовых деревьев вдруг со стуком посыпались на землю незрелые плоды. Из-за горы выплыли тяжелые грозовые тучи. Под встречным ветром вздыбилась и заклокотала речная зыбь.

Я вскочил на ноги. Сердце болезненно сжалось, ибо теперь я понял, что невозможно вырваться из собственных страданий. И только я решил повернуть вспять, покинуть эти места и вернуться к прежнему образу жизни, как новая мысль пришла мне в голову: «Странно все-таки, что в наше время важные особы все еще переправляются через реку столь трудным способом. Этого ничем не объяснишь, кроме как приверженностью людей к старым обычаям». Я удивленно покачал головой.

3. Толстяк

а) Речь, обращенная к природе

Из кустов на другом берегу реки с шумом выломались четверо полуголых мужчин, неся на плечах деревянные носилки. На них восседал, по-восточному поджав под себя ноги, человек ужасающей толщины. Хотя несли его сквозь кусты без дороги, напролом, он не разводил в стороны колючие ветки, а спокойно раздвигал их своим неподвижным туловищем. Его необъятное тучное тело было так заботливо уложено, что заполняло собою носилки и даже свисало с боков наподобие желтоватого ковра; его это ничуть не заботило. Маленький лысый череп блестел, словно желтый шар. На лице было написано выражение, свойственное простодушному человеку, который погружен в свои думы и не старается этого скрыть. Иногда толстяк прикрывал глаза; когда он их открывал, подбородок у него дергался.

«Эта местность мешает мне думать, – сказал он тихо. – Из-за нее мои мысли качаются, как подвесные мосты на бурной реке. Она прекрасна и потому приковывает к себе».

Я закрываю глаза и говорю: О, зеленая гора у реки, с которой в воду катятся камни, ты прекрасна.

Но горе этого мало, она хочет, чтобы я открыл глаза и смотрел на нее.

Но если я, закрыв глаза, говорю: Гора, я тебя не люблю, ибо ты напоминаешь мне облака, вечернюю зарю и купол неба, а это все вещи, от вида которых я чуть не плачу, ибо их невозможно достичь, когда тебя несут на носилках. И кроме того, показывая мне свою красоту, ты, коварная гора, закрываешь мне вид на далекие дали, а он радует меня, ибо показывает достижимое в прекрасной перспективе. Вот почему я не люблю тебя, гора у реки, нет, я тебя не люблю.

Но и к этой речи гора осталась бы так же безразлична, как и к первой, которую я произнес с открытыми глазами. Она всегда недовольна.

А разве мы не должны во что бы то ни стало настроить ее дружески по отношению к нам, дабы она вообще оставалась на месте и не обрушилась на нас, ведь она так любит иногда полакомиться кашей из наших мозгов. Иначе она прибьет меня своей зазубренной тенью, преградит мне путь отвесными голыми скалами, и мои носильщики станут спотыкаться о каждый камешек на дороге.

Но не только одна гора так тщеславна, так прилипчива и мстительна, все остальное тоже. Вот и приходится мне все время держать глаза открытыми – о, как они болят! – и повторять:

«Да, гора, ты прекрасна, и леса на твоём западном склоне приносят мне радость. И тобой, цветок, я тоже доволен, твой розовый цвет радует мою душу. И ты, трава на лугу, выросла высокой и сочной, и от тебя веет прохладой. И ты, диковинный куст, колешься столь внезапно, что вспугиваешь мои мысли. А ты, река, нравишься мне так сильно, что я прикажу нести меня сквозь твои ласковые воды».

Десять раз подряд громко выкрикнув эту хвалу, сопровождаемую каким-то подобием поклона, толстяк опустил голову и сказал, закрыв глаза:

«Но теперь – прошу вас – гора, цветок, трава, куст и река, – дайте мне немного простора, чтобы я мог дышать».

Тут окружающие горы начали поспешно перемещаться и прятаться за завесой тумана. Ряды фруктовых деревьев хоть и не тронулись с места, оставаясь на прежнем удалении друг от друга, равном примерно ширине дороги, но очертания их растаяли в воздухе раньше, чем все остальное; в это время диск солнца на небе закрыл собою темное облако со слегка просвечивающими краями, в тени которого земля вокруг как бы осела, а все, что на ней, утратило четкие формы.

Шаги носильщиков доносились до моего берега, но разглядеть что-либо на их лицах, казавшихся отсюда просто темными пятнами, я не мог. Видел только, что головы их клонились набок и спины сгибались под неподъемной тяжестью. Их вид вселил в меня тревогу, ибо я понял, что они совсем выбились из сил. Поэтому я не отрываясь следил глазами за тем, как они подошли к краю травянистого берега, как затем ступили на влажный песок – шаг их все еще был ровен, – как наконец вошли в прибрежные камыши, увязая в илистом дне, причем двое задних пригнулись еще ниже, дабы удержать носилки в горизонтальном положении. Я в ужасе сцепил пальцы. Теперь им при каждом шаге приходилось вытаскивать ноги из ила, и тела их, несмотря на прохладу этого переменчивого вечера, заблестели от пота.

Толстяк спокойно сидел, положив ладони на бедра, хотя остроконечные камышовые листья, выпрямляясь за передними носильщиками, хлестали его по голому телу.

Приближаясь к воде, носильщики все чаще сбивались с шага. Иногда носилки покачивались, словно плыли по волнам. Небольшие ямки в заросшем камышом дне приходилось, видимо, перепрыгивать или огибать, так как среди них, вероятно, попадались и глубокие. Вдруг из зарослей с криком вырвалась стая диких уток и круто взлетела вверх, к туче. Тут я увидел на миг лицо толстяка: на нем явно читалась тревога. Я встал и, прыгая с камня на камень, зигзагом спустился по крутому склону к реке. Я не думал, как это опасно, и был озабочен лишь тем, как помочь толстяку, если слуги не смогут его дальше нести. Спускался я так стремительно, что, оказавшись у воды, не мог удержаться и вбежал в реку, вызывая фонтаны брызг; остановился я лишь тогда, когда вода дошла мне до колен.

А тем временем слуги, неестественно изогнувшись, внесли носилки в воду и, загребая свободной рукой, чтобы удержаться на поверхности, четырьмя другими руками, поросшими густым волосом, подпирали снизу носилки, так что над водой видны были только вздувшиеся от напряжения мускулы.

Вода подступила им сперва к подбородку, потом дошла до рта, головы их откинулись назад, и носилки упали им на плечи. Вода плескалась уже у них под глазами, но они все еще не сдавались, хотя не добрались даже до середины реки. Тут волна перехлестнула через головы двух передних носильщиков, и все четверо молча пошли ко дну, увлекая за собой и носилки. Вода с бульканьем устремилась в воронку.

В эту минуту из-за края огромной тучи выскользнул пологий луч вечернего солнца и сразу преобразил и холмы, и горы вдаль, ограничивавшие видимость, в то время как река и ее окрестности, находившиеся под тучей, оставались погруженными в сумрак.

Толстяк, несомый вниз по течению, медленно переваливался с боку на бок на поверхности воды; казалось, то плывет резной божок светлого дерева, выброшенный в реку за ненадобностью. Плыл он, как бы лежа на отражении дождевой тучи. При этом отделившиеся от нее удлиненные облака тащили его вперед, а мелкие и кучные – толкали сзади, так что двигался он довольно быстро и разрезал воду с такой силой, что образуемые им волны плескались о мои колени и камни берега.

Я быстро вскарабкался по склону, чтобы иметь возможность двигаться по берегу параллельно толстяку, которого успел полюбить всем сердцем. А кроме того, я надеялся познакомиться поближе с опасностями, таившимися в этом краю, кажущемся столь безмятежным. Так я шагал уже по песчаной полосе, тянущейся у самой воды и такой узкой, что к ней нелегко было приноровиться; руки я засунул в карманы, а лицо повернул под прямым углом к реке, и мой подбородок едва не касался плеча.

На прибрежных камнях сидели изящные ласточки.

Вдруг толстяк внятно сказал: «Милый человек, не пытайтесь меня спасти. Это мечь воды и ветра; пробил мой час. Да, это мечь за то, что мы с моим другом-богомольцем слишком часто нарушали покой этих стихий громким пением, сверканием цимбал, громом труб и всплесками литавр».

Маленькая чайка, распластав крылья и не снижая скорости, пролетела сквозь его живот. А толстяк продолжал:

б) Начало разговора с богомольцем

Было время, когда я день за днем ходил в одну и ту же церковь, ибо был влюблен в девушку, которая молилась там, преклонив колена, каждый вечер в течение получаса; в это время я мог спокойно любоваться ею.

Однажды, когда девушка не пришла и я в досаде оглядывал молящихся, взгляд мой привлёк молодой человек, всем своим тощим телом распростёршийся на полу церкви. Время от времени он приподнимал голову и, тяжело вздохнув, изо всей силы бился ею о свои ладони, лежащие на каменном полу.

В церкви находилось лишь несколько старушек, которые то и дело поворачивали в его сторону повязанные платками головы, чтобы взглянуть на богомольца. Внимание их, по-видимому, было ему приятно, ибо перед очередным приступом религиозного рвения он всякий раз обводил взглядом присутствующих, проверяя, достаточно ли много свидетелей его молитвенного экстаза.

Я нашел такое поведение недостойным и решил заговорить с ним, когда он выйдет из церкви, чтобы выяснить, почему он молится таким странным образом. И вообще я был расстроен, поскольку моя девушка не пришла.

Но он только через час поднялся с пола, степенно осенил себя крестным знаменем и неровной походкой направился к кропильнице. Я встал у него на дороге между кропильницей и выходом из церкви, твердо решив не выпустить его наружу, не получив объяснения. Я даже подвигал губами, как делаю всегда, готовясь к трудному разговору. Правую ногу я слегка выдвинул вперед и перенес на нее всю тяжесть тела, в то время как носком левой лишь едва касался пола; такая поза тоже придает мне решимости.

Вполне возможно, что этот человек уже заметил меня краем глаза, когда кропил свое лицо святой водой, а может, его еще раньше встревожило мое пристальное внимание к его особе; во всяком случае, он вдруг ринулся к выходу и стремглав выбежал на улицу. Застекленная дверь захлопнулась за ним. Когда я следом вышел наружу, его уже не было видно: возле церкви начиналось несколько узких переулков, да и уличное движение там было довольно оживленное.

В последовавшие затем дни он отсутствовал в церкви, зато моя девушка появилась. На ней было черное платье, отделанное на плечах прозрачными кружевами, прикрывавшими полукруглый вырез сорочки и заканчивавшимися шелковым воланом, ниспадавшим красивыми складками. С приходом девушки я и думать забыл о молодом богомольце и не обращал на него внимания и тогда, когда он вновь стал регулярно приходить в церковь и молиться обычным для него способом. Но он всегда старался побыстрее проشمыгнуть мимо меня, отвернув

лицо. Может быть, оттого, что я представлял его себе только в движении, мне показалось, что он ускользает от меня, даже когда он стоял не двигаясь.

Как-то раз я задержался дома дольше обычного. Но тем не менее отправился в церковь. Девушки там уже не было, и я хотел было вернуться домой. Но тут заметил того самого молодого богомольца, по-прежнему лежащего на полу. Я вспомнил о давешнем случае, и любопытство вновь овладело мной.

На цыпочках я выскользнул на паперть, подал монетку сидевшему там слепому и опустился рядом с ним на каменный пол, укрывшись за распахнутой створкой двери. Так я просидел битый час, чувствуя себя большим хитрецом. Мне было хорошо на паперти, и я решил чаще здесь бывать. Но когда пошел второй час, я счел бессмысленным дольше торчать тут ради этого странного богомольца. И тем не менее, уже злясь на самого себя, еще целый час терпел, что пауки ползают по моей одежде. В это время из темного провала церковной двери, шумно дыша, начали выходить последние прихожане.

Тут и он появился. Ступал он очень осторожно, как бы пробуя ногой пол, прежде чем шагнуть.

Я вскочил, решительно преградил ему путь и схватил за шиворот. «Добрый вечер», – сказал я и, не выпуская из руки его воротник, подтолкнул его к ступенькам вниз, на освещенную площадь.

Оказавшись на площади, он заговорил дрожащим голосом: «Добрый вечер, уважаемый, уважаемый сударь, не сердитесь на вашего преданнейшего слугу».

«Я хочу вас кое о чем спросить, сударь: в прошлый раз вы от меня удрали, нынче это вам вряд ли удастся».

«Но ведь вы добрый человек, сударь, и отпустите меня домой. Я жалок, жалок, вот и вся правда».

«Нет! – громко воскликнул я, стараясь перекрыть шум проезжавшего мимо трамвая, – не отпущу! Именно такие истории мне больше всего нравятся. Вы для меня – счастливая находка. Я поздравляю себя с такой удачей».

Но он возразил: «О Боже, у вас отзывчивое сердце и умная голова. Вы называете меня счастливой находкой; как же вы, наверное, счастливы! Но несчастье мое шатко, оно качается на острие иглы и может свалиться на того, кто к нему прикоснется. Спокойной ночи, сударь».

«Хорошо, – сказал я, не выпуская его правую руку, – если вы мне не ответите, я начну кричать прямо здесь, на улице. И все продавщицы, рабочий день которых сейчас заканчивается, и их кавалеры, которые с нетерпением ждут их возле магазинов, сбегутся сюда, решив, что пала извозчицья лошадь или случилось еще что-то в этом роде. И тогда я покажу вас людям».

Тут он принялся со слезами целовать мои руки. «Я расскажу вам все, что вы хотите узнать, но прошу вас, пройдемся лучше вон в тот переулок». Я кивнул, и мы с ним пошли.

Однако темный проулок с редкими фонарями показался ему недостаточно уединенным, и он ввел меня в низенькое парадное какого-то старого дома, где и остановился под тусклой керосиновой лампой, освещавшей начало деревянной лестницы.

Потом неторопливо вынул из кармана носовой платок и, расстелив его на ступеньке, сказал: «Присядьте, сударь, так вам будет удобнее спрашивать, а я останусь стоять, так мне будет удобнее отвечать. Только не мучайте меня».

Я сел и сказал, глядя на него с прищуром: «Да вы законченный психопат, вот вы кто! Как вы ведете себя в церкви! Как это все смешно и как неприятно для присутствующих! Когда смотришь на вас, разве придешь в молитвенное настроение?»

Он стоял, привалившись всем телом к стене, так что двигать мог лишь головой. «Не сердитесь – зачем вам сердиться из-за того, что не имеет к вам отношения. Я сержусь, только если сам веду себя не лучшим образом; но если кто-то другой ведет себя плохо, я радуюсь».

Так что не сердитесь на меня за то, что я вам сейчас скажу: для того я и молюсь, чтобы на меня посмотрели».

«Что вы такое говорите! – воскликнул я слишком громко для такого тесного помещения, но, спохватившись, побоялся приглушить голос. – В самом деле, что вы такое говорите! Да, я догадался, когда впервые вас увидел, в каком состоянии вы находитесь. Я с этим сталкивался и вовсе не шучу, когда называю это состояние морской болезнью на суше. Суть ее состоит в том, что забываешь подлинные названия вещей и поспешно даешь им другие, совершенно случайные. Лишь бы побыстрее, лишь бы побыстрее! Но, едва придумав, тут же их забываешь. Например, тополь посреди поля, который вы назвали «вавилонской башней», поскольку не помнили или не желали помнить, что это тополь, опять безымянный качается у вас перед глазами, и вы называете его уже «подвыпивший Ной».

Меня несколько обескуражил его ответ: «Я рад, что не понял того, что вы сказали».

И я, уже волнуясь, поспешил парировать: «Тем, что вы этому рады, вы показываете, что вы все поняли».

«Конечно, показываю, милостивый государь, но и вы говорили довольно странные вещи».

Привалившись спиной к одной из верхних ступенек, я облокотился о нее обеими руками – к такой позе прибегают боксеры, когда хотят уклониться от ударов противника, – и сказал: «Забавный у вас способ защиты: вы предполагаете, что другие находятся в том же состоянии, что и вы».

Тут он приободрился. Сцепив руки и как-то подобрившись всем телом, он сказал, преодолевая легкое внутреннее сопротивление: «Нет, я этого не делаю по отношению ко всем, в том числе и по отношению к вам, просто потому, что это невозможно. Но был бы рад, если бы было возможно, ибо тогда мне больше не нужно было бы привлекать к себе внимание в церкви. Знаете, почему мне это нужно?»

Его вопрос поставил меня в тупик. Конечно, я этого не знал, но думается, и не хотел знать. Ведь я и сюда идти не хотел, сказал я себе в ту минуту, этот человек просто заставил меня его выслушать. Так что мне достаточно было лишь покачать головой, дабы показать, что я этого не знаю; но оказалось, что сделать этого я не мог.

Мой собеседник улыбнулся. Потом смиренно опустил на колени и с сонным видом поведал: «Никогда я не мог убедить самого себя, что действительно живу. Дело в том, что все окружающее кажется мне рассыпающимся в прах, поэтому меня не покидает ощущение, будто все вещи некогда жили полной жизнью, но теперь близки к исчезновению. И всегда, сударь, всегда я испытывал мучительное желание увидеть вещи такими, какими их воспринимают другие люди, прежде чем увидеть их своими глазами. Ведь на самом деле они прекрасны и спокойны. Я в этом уверен, ибо часто слышу, что люди именно так о них отзываются».

Поскольку я ничего не ответил и лишь произвольными подергиваниями лица показал, что мне очень не по себе, он спросил: «Вы не верите, что люди так о них отзываются?»

Я считал, что должен в ответ кивнуть, но кивка не получилось.

«Вы действительно не верите? О, тогда послушайте: однажды, в детстве, открыв глаза после короткого послеобеденного сна, но еще не совсем проснувшись, я услышал, как моя матушка, стоя на балконе, будничным тоном спросила кого-то внизу: «Что подельваете, дорогая? Нынче так жарко». И женский голос ответил из сада: «Пью кофе на открытом воздухе». Ответил без всяких раздумий и не очень отчетливо, словно полагал, что каждый и сам догадается».

Мне показалось, что он ждет от меня какой-то реакции. Поэтому я полез в задний карман брюк и сделал вид, будто что-то ищу. Но я ничего не искал, просто хотел изменить позу, дабы показать, что принимаю участие в разговоре. При этом я сказал, что случай этот весьма странен и что постичь его смысл я не могу. А также добавил, что не верю в его подлинность и что он

вымышлен с определенной целью, которой я пока не уяснил. Потом я закрыл глаза, так как они причиняли мне боль.

«О, как славно, что вы одного мнения со мной и, значит, остановили меня без всякой корысти, – только, чтобы мне об этом сказать. Действительно, почему я должен стыдиться – или почему мы должны стыдиться – того, что я не держусь прямо и не ступаю тяжело, что не постукиваю тростью по тротуару и не задеваю одежды людей, с шумом проходящих мимо меня. Может, у меня еще больше оснований сетовать, что я кособокой тенью шмыгаю вдоль домов и иногда даже не отражаюсь в стеклах витрин.

Каким ужасом наполнены все мои дни! Почему все так плохо строится, что время от времени без всякой видимой причины рушатся высокие дома. Всякий раз я карабкаюсь по развалинам и спрашиваю каждого встречного: «Как это могло случиться? В нашем городе! И дом был совсем новый. Сегодня уже пятый по счету. Вы только подумайте». Но никто не может ответить.

Часто люди падают замертво прямо на улице. Тут все торговцы открывают двери своих забитых товарами лавок, мигом сбегаются к трупам и оттаскивают его в какой-нибудь дом, потом выходят на улицу, улыбаясь как ни в чем не бывало, и беседуют друг с другом: «Добрый день. – Небо что-то заволокло. – Головные платки нынче хорошо берут. – Да, война». Я подсказываю к тому дому и несколько раз подношу согнутый палец к окошку привратника, прежде чем решусь постучать. Наконец говорю ему самым дружеским тоном: «Милый человек, в ваш дом только что внесли мертвеца. Дайте мне на него взглянуть, пожалуйста». А так как он качает головой, будто в нерешительности, я говорю уже напористее: «Милый человек. Я из тайной полиции. Сейчас же покажите мне труп». – «Какой такой труп? – переспрашивает он и делает оскорбленный вид. – Нет у нас никакого трупа. Здесь порядочный дом». Я прощаюсь и ухожу.

Но уж когда приходится пересекать большую площадь, я вообще забываю все на свете. Трудности, связанные с этим переходом, повергают меня в смятение, и часто я думаю про себя: если люди строят такие огромные площади только из высокомерия, почему не строят заодно и каменные барьеры, за которые можно было бы держаться. Дует, к примеру, сильный юго-западный ветер. Площадь продувает насквозь. Шпиль на башне ратуши описывает круги. Почему люди так толпятся? Какой ужасный шум! Оконные стекла дрожат, фонарные столбы гнутся, как бамбук. Каменный плащ святой Девы Марии вздувается колоколом и дергается под порывами ветра. Разве никто этого не видит? Мужчины и дамы, которым полагается ходить по тротуару, парят над землей. Когда ветер, чтобы перевести дух, на минуту стихает, они останавливаются, беседуют друг с другом и раскланиваются, прощаясь, но при новом порыве ветра не могут устоять и все одновременно трогаются с места. И хотя все вынуждены придерживать шляпы руками, вид у них веселый, словно погода их устраивает. Лишь я один в ужасе».

Заподозрив, что надо мной издеваются, я сказал: «История, которую вы до этого рассказали – про свою матушку и женщину в саду, вовсе не кажется мне странной. Я не только слышал и видел множество подобных случаев, но в некоторых даже сам участвовал. Ведь в нем нет ничего противоестественного. Да будь я на этом балконе, неужели вы думаете, что я не мог бы сказать и услышать из сада то же самое? Ничего особенного в этой истории нет».

Когда я это сказал, он просиял от радости. И заметил, что одет я с большим вкусом и что ему очень нравится мой галстук. И какой прекрасный у меня цвет лица. И что смысл признаний становится особенно ясен, когда от них отрекаются.

в) История богомольца

Потом он сел рядом со мной, видимо, заметив, что я сник, а я, отводя глаза, подвинулся, освобождая ему место. И все же от меня не ускользнуло, что и он испытывал какое-то замешательство, старался держаться от меня подальше и говорил уже нехотя:

«Каким ужасом наполнены мои дни!»

Вчера вечером я был в гостях в одном доме. Только я поклонился одной девушке, стоявшей под газовым рожком, и сказал: «Я на самом деле рад, что скоро зима...» – только я поклонился ей с этими словами, как почувствовал, к своей большой досаде, что правое бедро выскочило из сустава. Да и коленная чашечка немного ослабла.

Поэтому я опустился на стул и сказал, как всегда, тщательно подбирая слова: «Ведь зимой от тебя не требуется так много усилий; зимой легче дается общение с людьми, не приходится так много разговаривать. Не так ли, милая барышня? Надеюсь, в этом отношении я прав». При этом правая нога продолжала меня сильно беспокоить. Поначалу казалось, что она вообще развалилась на части, и лишь потом я постепенно кое-как привел ее в порядок, с силой наступив на нее и подвигав в разные стороны.

И тут девушка, из сочувствия ко мне тоже опустившаяся на стул, вдруг тихо сказала: «Нет, вы мне совсем не нравитесь, потому что...»

«Погодите, милая барышня, – нетерпеливо перебил я ее, очень довольный, – вы не потратите на беседу со мной и пяти минут. Да и угощаться я вам не помешаю. Вот, прошу вас».

С этими словами я протянул руку, взял из высокой вазы, поддерживаемой бронзовым малюткой с крылышками, большую кисть винограда и, подержав ее в воздухе, положил на тарелочку с синей каемкой и галантно подал девушке.

«Вы мне совсем не нравитесь, – повторила она. – Все, что вы говорите, скучно и непонятно, но это еще не значит, что вы правы. Мне думается, сударь, – кстати, почему вы все время называете меня «милая барышня»? – мне думается, вы только потому отворачиваетесь от правды, что она для вас слишком утомительна».

Боже, как я обрадовался! «О да, о да, фройляйн, – я едва не кричал, – как вы правы! Милая барышня, поймите, какое невыносимое счастье знать, что тебя так понимают, хотя ты этого совсем не ожидал».

«Правда для вас слишком утомительна, сударь, иначе чем объяснить ваш вид! Кажется, будто вас вырезали из папиросной бумаги, этаким желтенький прозрачный силуэт. И когда ходите, наверняка шелестите, как папиросная бумага. Поэтому не стоит особо углубляться в обсуждение ваших мнений или суждений, ибо вас колышет даже от сквозняка».

«Я вас не понял. Здесь, в гостиной, находятся и другие люди. Одни стоят, опершись о спинки стульев или прислонившись спиной к роялю, другие робко прихлебывают из рюмки или смущенно выскальзывают в соседнюю комнату, где не горит свет, и в темноте тут же больно ударяются плечом о какой-нибудь шкаф, а потом стоят у открытого окна, якобы для того, чтобы подышать свежим воздухом, а сами думают: «А вон там – Венера, вечерняя звезда». И я нахожусь в обществе этих людей. Если между нами и есть какая-то связь, я ее не улавливаю. Но я даже не знаю, существует ли эта связь на самом деле. Получается, милая барышня, что из всех этих людей, правду о которых мы не знаем, ведущих себя столь нерешительно и даже смешно, видимо, я один заслуживаю того, чтобы выслушать правду о себе. И чтобы сделать ее еще более приятной для меня, вы высказываете ее насмешливым тоном, дабы я понял, что сказано не все и остается еще что-то, как после пожара в каменном доме что-то все же остается благодаря его солидным стенам. Дом просматривается насквозь, сквозь пустые проемы окон днем видны облака на небе, а ночью звезды. Однако облака часто перерезаются серым камнем, а картина звездного неба искажается. Что, если я отвечу вам откровенностью на откровенность и скажу, что все люди, считающиеся живыми, когда-либо будут выглядеть, как я – то есть, согласно вашему определению – силуэтами, вырезанными из желтой папиросной бумаги, и при ходьбе издавать шелест. Суть их не изменится, но выглядеть они будут иначе. И даже вы, милая...»

Тут я заметил, что девушки рядом со мной уже не было. Видимо, она ушла вскоре после своей последней реплики и теперь стояла далеко от меня, у окна, в компании трех молодых людей в высоких белых воротничках, оживленно беседовавших между собою.

Я с удовольствием выпил рюмку вина и направился к пианисту, который в это время самозабвенно играл на рояле какую-то печальную вещь. Не желая его испугать, я деликатно склонился к его уху и тихо шепнул на фоне музыки: «Будьте добры, сударь, дайте теперь мне сесть за рояль, ибо я собираюсь быть счастливым».

Но он не послушался, и я некоторое время нерешительно переминался с ноги на ногу рядом с ним, а потом, преодолевая робость, стал переходить от одного гостя к другому, небрежно бросая на ходу: «Нынче я буду играть на рояле. Вот как».

Казалось, они знали, что играть я не умею, но тем не менее вежливо улыбались в ответ, словно считали мои слова беззлой шуткой, на миг прервавшей их беседу. И насторожились, лишь когда я громко заявил, обращаясь к пианисту: «Будьте добры, сударь, дайте теперь мне поиграть. Ведь я собираюсь быть счастливым. Это будет моим триумфом».

Пианист оборвал игру, но с табурета не встал и, видимо, не понял, чего я хочу. Он лишь вздохнул и закрыл лицо руками.

Мне стало немного жаль его, и я уже хотел было предложить ему продолжить игру, но тут к нам подошла хозяйка дома с группой гостей.

«Что это ему пришло в голову!» – сказали они и громко расхохотались, как будто я собирался совершить нечто противоестественное.

Та девушка тоже подошла к нам, бросила на меня презрительный взгляд и сказала хозяйке дома: «Сударыня, разрешите ему поиграть. Вероятно, он хочет как-то развлечь собравшихся. Похвальное желание! Прошу вас, сударыня».

Все весело зашумели, ибо, очевидно, решили, как и я, что в словах ее таится ирония. Лишь пианист молчал. Он сидел, склонив голову, и указательным пальцем левой руки водил по сиденью табурета, словно рисуя на песке. Я весь дрожал, и чтобы это скрыть, сунул руки в карманы брюк. Внятно говорить я тоже уже не мог, ибо едва удерживался от слез. Поэтому я был вынужден тщательно подбирать слова, дабы окружающим и в голову не пришло, будто я готов расплакаться.

«Сударыня, – сказал я, – мне необходимо сейчас поиграть, ибо...» Но так как я начисто забыл причину, то взял и просто сел рядом с пианистом. И тут только понял, в какое положение сам себя поставил. Пианист поднялся и из деликатности перешагнул через табурет, ибо я мешал ему пройти. «Пожалуйста, погасите свет, я могу играть только в темноте». Я выпрямился.

Тут двое из гостей подхватили табурет и отнесли меня на нем к накрытому столу, подальше от рояля: при этом они насвистывали какую-то мелодию и слегка раскачивали меня из стороны в сторону.

Все отнеслись к их действиям одобрительно, а та девушка сказала: «Видите, сударыня, он очень мило сыграл. Я так и знала. Зря вы боялись».

Я все понял и в знак благодарности раскланялся по всем правилам.

Мне налили лимонного сока, и какая-то барышня с ярко-красными губами держала стакан, покуда я пил. Хозяйка дома подала мне на серебряной тарелочке пирожное безе, и другая девушка, одетая в белоснежное платье, положила его мне в рот. Пышнотелая барышня с копной белокурых волос все это время держала надо мной виноградную кисть и заглядывала мне в глаза, так что мне оставалось лишь отщипывать ягоды и стараться не встретиться с барышней взглядом.

Все были так милы ко мне, что я, естественно, очень удивился, когда все поголовно бросились меня удерживать, заметив, что я вновь вознамерился сесть за рояль.

«Всему есть мера, – заявил хозяин дома, которого я до той минуты не замечал. Выйдя из гостиной, он тотчас вернулся, держа в руках высоченный цилиндр и красновато-бурое летнее пальто в цветочках. – Вот ваши вещи».

Хотя вещи были вовсе не мои, но я не хотел затруднять его новыми поисками. Хозяйка дома собственноручно помогла мне надеть пальто, которое пришлось мне как раз впору и сидело даже чересчур в обтяжку на моем тощем теле. Какая-то дама с добрым лицом, склоняясь все ниже и ниже, застегнула все пуговицы пальто сверху донизу.

«Ну, будьте здоровы, – сказала хозяйка дома, – и не исчезайте надолго. Вы знаете, что мы всегда рады вас видеть». Тут все гости отвесили мне поклон, словно он был мне так уж нужен. Я попытался ответить им тем же, но пальто было слишком узко. Так что я просто взял в руку цилиндр и довольно неуклюже двинулся вон из комнаты.

Но когда я мелкими шагами вышел из дома, на меня навалился сверху необозримый свод неба с луной и звездами, а спереди – Староместская площадь с ратушей, столпом Девы Марии и костелом.

Я спокойно выступил из тени под лунный свет, расстегнул пальто и погрелся; потом, воздев руки к небу, заставил ночной шум улечься и стал размышлять:

«Да что же это такое? Почему вы все делаете вид, будто и впрямь существуете? Хотите, чтобы я поверил, будто меня, нелепо стоящего на позеленевших плитках мостовой, на самом деле нет? Но ведь тебя, небо, давно уже не существует, а тебя, Староместская площадь, и вовсе никогда не было.

Правда, вы все еще сильнее меня, – однако лишь тогда, когда я оставляю вас в покое.

Слава Богу, луна, что ты больше уже не луна; и я, наверное, напрасно все еще называю тебя луной, ведь ты всего лишь самозванка. Отчего ты тускнеешь, когда я называю тебя «забытый бумажный фонарик странного цвета». И отчего поспешно ретируешься, стоит мне назвать тебя «столп Девы Марии»; да и ты, столп, теряешь грозную свою осанку, как только я называю тебя «луна, отбрасывающая желтый свет».

Мне и вправду сдается, что вам не на пользу, когда о вас думают; и бодрости духа, и здоровья у вас от этого убывает.

Боже, как думающему человеку, наверное, полезно поучиться уму-разуму у пьяного!

Почему все вдруг стихло? Кажется, и ветер улегся. И маленькие домики, часто катающиеся по площади, словно на колесиках, прочно вросли в землю. И стоят тихо-тихо, не шелхнутся. Не видно той тонкой черной черты, которая обычно отделяет их от земли.

Я припустил бегом. Три раза кряду я без помех обежал просторную площадь и, не встретив ни одного пьяного, помчался, не снижая скорости и не чувствуя усталости, в сторону Карлова переулка. Тень моя, то и дело уменьшаясь в росте, бежала рядом со мной по стене, словно ныряла в какое-то полое пространство между стеной и улицей.

Пробегая мимо пожарной части, я услышал шум, доносившийся с Малой Страны, а свернув туда, увидел пьяного, стоявшего, раскинув руки, у решетчатой ограды фонтана и громко топавшего ногами, обутыми в деревянные сабо.

Сперва я немного постоял, чтобы отдышаться, потом подошел к пьяному, снял цилиндр и представился: «Добрый вечер, высокородный господин, мне двадцать три года, но имени у меня пока еще нет. А вы, догадываюсь, носите удивительное, чуть ли не легендарное имя и только что прибыли из великого города Парижа, ибо источаете сверхъестественные ароматы растленного тамошнего двора.

В Париже вы наверняка имели честь лицезреть важных дам, у которых конец длинного шлейфа, расшитого разноцветными шелками и змеящегося за ними по лестнице, еще влачится по песчаным дорожкам сада, когда сами они уже изящно и иронично изгибаются осиною талией на высоком резном балконе. А в это время слуги в серых фраках вызывающего покроя и белых штанах в обтяжку карабкаются на длинные шесты, которыми утыкан весь сад, и, крепко обхватив шест ногами, то и дело отклоняются от него назад или вбок: они поднимают с земли и натягивают вверху привязанные к толстым веревкам огромные серые полотнища, так как первой даме королевства угодно, чтобы утро было пасмурное».

Пьяный в ответ только рыгнул, и я оторопело спросил: «Вы ведь и в самом деле приехали к нам напрямик из Парижа, из нашего бурного Парижа, из этого сказочного, вечно бурлящего города?»

Он вновь рыгнул, и я смущенно заметил: «Понимаю, вы оказываете мне высокую честь».

И поспешно застегнув пальто на все пуговицы, я заговорил робко, но с большим чувством: «Понимаю, вы считаете ниже своего достоинства мне ответить, но жизнь моя была бы слишком грустна, если бы я нынче не осмелился обратиться к вам с вопросом.

Прошу вас, достопочтенный господин, скажите, правда ли то, что мне рассказывали: будто в Париже есть люди, у которых под роскошной одеждой ничего нет? А также – есть ли там дома, состоящие из одного фасада? Правда ли, что летом небо над головой блекло-голубое и чтобы его украсить, к нему подвешивают белые облачка, имеющие форму сердечка? И имеется ли там паноптикум, где нет ничего, кроме деревьев, но куда люди тем не менее сбегаются толпами, чтобы только поглядеть на развешанные по деревьям таблички с именами знаменитых героев, преступников и влюбленных.

И потом – еще одно известие! Скорее всего – ложь чистой воды!

Парижские улицы очень извилисты, не правда ли, и изобилуют неожиданными поворотами; к тому же движение в городе весьма оживленное, верно? И не всегда все обходится благополучно, да и может ли быть иначе?! То и дело происходят несчастные случаи, собирается толпа, с соседних улиц легкой порхающей походкой столичных жителей стекаются люди; всех их гонит сюда любопытство, но сдерживает боязнь испытать разочарование; все они жарко дышат и жадно вытягивают шеи. Однако, если кому-то случится нечаянно толкнуть другого, он низко кланяется и просит прощения. «Мне очень жаль – я задел вас нечаянно – простите великодушно – такая толчея – я был очень неловок, готов признать. Меня зовут... – А меня – Жером Фарош, бакалейная лавка на рю де Каботин, разрешите пригласить вас завтра к обеду – супруга тоже очень обрадуется». Так они беседуют, а улица в это время гложет от шума, и дым из труб стелется по земле между домами. Ведь вот как обстоит дело. И еще: возможен ли такой случай: где-то в богатом квартале, на оживленном бульваре останавливаются две коляски. Слуги с важным видом распахивают дверцы, восемь чистопородных сибирских овчарок выпрыгивают на улицу и с лаем несутся по мостовой. Говорят, что это – переодетые парижские щеголи».

Пьяный стоял, крепко зажмурившись. Когда я умолк, он сунул в рот пальцы обеих рук и отвалил нижнюю челюсть. Вся его одежда была выпачкана. Вероятно, его выставили из какой-то пивной, а он этого пока не уяснил.

Было то время суток, тот короткий спокойный промежуток между днем и ночью, когда мы невольно поднимаем глаза к небу и когда все окружающее замирает, чего мы не успеваем заметить, потому что не смотрим вокруг себя, а потом и вовсе исчезает из виду. А мы так и стоим в одиночестве, задрав голову к небу, и когда наконец оглядываемся вокруг, уже ничего не видно, не чувствуется даже сопротивления воздуха; но в душе у нас все еще живо воспоминание о том, что на некотором удалении от нас стоят дома, и у домов есть крыши с прямоугольными печными трубами, сквозь которые темнота ночи пробирается внутрь домов – сперва в мансарды, а потом и во все остальные комнаты. Какое счастье, что завтра вновь настанет день и опять станет видно все вокруг, каким бы невероятным это сейчас ни казалось.

Чтобы открыть глаза, пьянчужка с усилием вздернул брови; веки его заблестели от пота, и он выдавил из себя толчком: «Вот какое дело – я спать больно хочу – пойду спать. – На Вацлавской площади у меня шурин живет – туда и пойду – потому как я и сам там живу – там у меня кровать. – Так что пойду туда. – Правда, не знаю, как его звать и какой номер дома. – Кажись, забыл. – Да это плевать. – Я вообще не помню, есть ли он у меня, шурина-то. – Ну ладно, я пошел. – Думаете, найду?»

На этот вопрос я ответил без тени сомнений: «Конечно, найдете. Но приехали вы изда- лека, и слуг при вас случайно не оказалось. Так что разрешите мне вас проводить».

Он промолчал. Тогда я повернулся к нему боком и выставил локоть, чтобы он мог взять меня под руку.

г) Продолжение разговора между толстяком и богомольцем

А я уже некоторое время пытался как-то приободриться: сам себя щипал и мысленно уговаривал: «Пора бы тебе что-то сказать. Ведь он уже сбил тебя с толку. Что тебе мешает? Потерпи! Тебе же знакомо такое состояние. Обдумай все не спеша. Он тоже подождет».

Со мной творится то же самое, что было на прошлой неделе в гостях. Кто-то из гостей читает вслух некий рукописный текст. Одну страницу этого текста я сам переписывал по его просьбе. И, увидев ее среди написанных им страниц, я вдруг пугаюсь. Это необъяснимо. Сидя- щие с трех сторон стола тянутся взглянуть на эту страницу. А я плачу и готов поклясться, что это не мой почерк.

Но в чем же тут сходство с сегодняшней ситуацией? Ведь от одного тебя зависит как- то закончить разговор. Кругом так спокойно. Напрягись же, мой милый! Придумай какой- нибудь повод. Можешь же ты сказать: «Меня клонит в сон. Да и голова болит. Прощайте». Ну- ка, по-быстрому. Прояви себя хоть как-то! Что это? Опять какие-то препятствия? Ты что-то вспомнил? – Я вспомнил высокогорное плато, которое вздымалось к небу, словно щит земли. Я смотрел на него с вершины и собирался пересечь его из конца в конец. Даже запел».

Губы мои пересохли и плохо слушались, когда я наконец сказал: «Разве не следует жить по-другому?»

«Выходит, нет?» – ответил он вопросом на вопрос и улыбнулся.

«Но почему вы приходите вечером в церковь?» – опять спросил я, чувствуя, как рушится все то, что я, как бы во сне, воздвигал между ним и мною.

«Ну зачем об этом говорить. Вечером одинокие люди не отвечают за себя. Их одолевают страхи. Им представляется, что их собственное тело исчезает, что люди на самом деле таковы, какими кажутся в сумерки, что не следует ходить без палки, что было бы хорошо пойти в церковь и молиться там вслух как можно громче, чтобы на тебя оглянулись и ты вновь обрел плоть».

Пока он говорил, я вытащил из кармана красный носовой платок, а когда умолк, я уже плакал, уткнувшись в ладони.

Он встал, поцеловал меня и сказал: «Почему ты плачешь? Ты высок ростом, что мне очень по душе, у тебя длинные кисти рук, которые почти всегда тебя слушаются; почему ты этому не радуешься? Советую тебе всегда носить темные нарукавники. Ну, что ты... Я тебе льщу, а ты все равно плачешь? Ведь ты очень разумно переносишь тягостность этой жизни.

Люди строят никому не нужные орудия войны, башни, каменные стены, вешают шелко- вые гардины, и мы могли бы всем этим восхищаться, будь у нас время. Мы как-то держимся над землей, – мы не падаем, мы хлопаем крыльями, словно летучие мыши, – правда, мы гораздо уродливее их. И в хорошую погоду нам уже ничего не стоит сказать: «Боже, какой прекрас- ный денек нынче!» Ибо мы уже как-то приспособились к этой земле и живем на ней, как бы заключив с ней договор.

Ведь люди – словно бревна, лежащие на снегу. Кажется, будто они покоятся на гладкой поверхности и ничего не стоит сдвинуть их с места. Но ничего не выходит, ибо они прочно вмерзли в землю. Видишь, даже это всего лишь видимость».

Слезы мои иссякли, как только в голову пришла такая мысль: «Сейчас ночь, и завтра никто не попрекнет меня тем, что я сейчас скажу: ведь я мог сказать это сквозь сон».

И я сказал: «Да, все это так; но о чем мы говорили? Не могли же мы говорить о степени освещенности неба, стоя под лестницей в подъезде дома. Однако нет, мы могли говорить об

этом, ибо разговор наш зависит не только от нашей воли, и мы не ставим перед собой какой-то цели и не собираемся докопаться до истины, мы хотим лишь отвлечься и рассеяться. Не могли бы вы еще раз рассказать мне историю про ту женщину, что отвечала вашей матушке, сидя в саду. Как она восхитительна, как умна! Мы должны брать с нее пример. Как она мне нравится! И потом: как славно, что я вас встретил и перехватил. Я получил большое удовольствие от беседы с вами. Я услышал кое-что новое, чего я, может быть, намеренно старался не знать. Очень рад».

Казалось, он очень доволен. И хотя для меня сущее мученье прикоснуться к другому человеку, я не мог не обнять его.

Потом мы с ним вышли на улицу. Мой друг развеял редкие рваные облачка, так что нашим глазам представилась ничем не замутненная картина звездного неба. Друг мой шел с трудом переставляя ноги.

4. Гибель толстяка

Внезапно течение убыстрилось, и толстяк стал от меня удаляться. Воду реки затягивало в стремнину, она попыталась было задержаться за искрошившийся край порога, поколыхалась немного, но потом все же рухнула вниз в пене и брызгах.

Толстяк не мог больше говорить, его завертело течением, и он исчез в шуме низвергающегося водопада.

А я, вкусивший здесь так много развлечений, стоял на берегу и все это видел. «Что нам делать с нашими легкими! – кричал я. – Дышать часто – задохнетесь: отработанный воздух не успеет выйти; дышать медленно – все равно задохнетесь: воздух с брызгами не годится для дыхания. А искать правильный темп – погибнете раньше, чем найдете».

Тут берега реки так вытянулись в длину, что железная табличка дорожного указателя стала казаться крошечной; тем не менее я мог прикоснуться к ней рукой. Это было мне не совсем понятно. Ведь я стал маленьким, чуть ли не ниже, чем обычно, даже куст белого шиповника, дрожавший мелкой дрожью, оказался выше меня. Я это видел, ибо минутой раньше он стоял рядом со мной.

И все же я ошибался, ибо руки мои стали размером с дождевую тучу, только подвижнее. Не знаю, почему они с такой силой сдавливали мою бедную голову, словно хотели ее раздавить.

А голова стала совсем крошечная, с муравьиное яйцо, и слегка помята – форма ее уже не была совершенно круглой. Я просительно вертел ею во все стороны, ибо глазами не мог ничего выразить, – они были так малы, что по ним никто ничего бы не понял.

Зато мои ноги стали непомерно длинными и простирались над лесистыми горами, отбрасывая тень на деревни в долинах. Они все росли и росли! И торчали уже на такой высоте, где нет земного пейзажа, давно покинув пределы видимости.

Но нет, все не так – я же маленький – пока еще маленький – и я качусь – качусь... Я стал горной лавиной! Люди, умоляю, будьте добры, скажите, какого я роста, измерьте длину моих рук и ног.

III

«Как же мне быть, – сказал мой знакомый, с которым мы вместе ушли с вечеринки и теперь спокойно шествовавший рядом со мной по одной из дорог на холме Лаврентия. – Пойдите, наконец, хоть немного, чтобы я мог подумать. Знаете ли, мне надо покончить с одним делом. Дело это трудное, и хотя ночь холодная и звездная, но ветер так резок, что иногда даже кажется, будто он сдвигает с места вон те акации.

Лунная тень, падавшая от дома садовника у обочины и припорошенная легким снежком, прямо перед нами пересекала небольшой пригорок, на который взбиралась дорога. Я заметил

скамью у дверей дома и указал на нее рукой, но немного оробел, ожидая возражений, и потому просительно прижал другую руку к сердцу.

Он с мрачным видом, не глядя, опустился на скамью, хотя одет был с иголки, и очень удивил меня, когда вдруг, опершись локтями о колени, уронил голову в ладони.

«Да, теперь я скажу вам, что меня мучает. Видите ли, я веду упорядоченную жизнь, меня не в чем упрекнуть, я делаю все, что почитается необходимым. Несчастье, к которому привыкли в том обществе, в котором я вращаюсь, и меня не миновало, и мое окружение, как и я сам, сочло, что это в порядке вещей. Общее удовлетворение по этому поводу ни от кого не было секретом, и в узком кругу я мог о нем говорить. Дело в том, что я еще ни разу в жизни не был по-настоящему влюблен. Иногда я об этом сожалел, но всякий раз утешался известной поговоркой. Однако теперь должен признаться: да, я влюблен и взволнован этим до глубины души. Я такой пылкий влюбленный, о каком мечтают все девушки. Но разве не следует мне подумать о том, что именно моя прежняя холодность придавала моей жизни некий особый и чрезмерно забавный привкус?»

«Спокойно, спокойно, – ответил я безучастно, думая только о себе. – Ведь ваша любимая красива, как мне только что довелось услышать».

«Да, она красива. Сидя рядом с ней, я думал только об одном: «Это такой риск – но я ведь не трус – отправлюсь-ка я в дальнее плавание – буду пить вино галлонами». Но когда она смеется, зубов ее не видно, чего следовало бы ожидать, а виден лишь темный и узкий провал рта. И вид у нее тогда хитрый и какой-то старушечий.

«Не стану отрицать, – откликнулся я, вздыхая, – мне тоже случалось замечать такое выражение у девушек, потому что оно прямо-таки бросается в глаза. Но дело не только в этом. Что такое вообще девичья красота! Часто при виде платьев с множеством складочек, рюшей и бахромы, красиво облегающих красивое тело, я думаю про себя, что недолго им оставаться такими, что платья со временем помнутся, так что и не разглядеть, а отделка пропылится, так что не вычистить, и что вряд ли кому-нибудь приятно каждое утро надевать и вечером снимать одно и то же дорогое платье, выставляя себя в таком грустном и смешном свете. Тем не менее я вижу вокруг множество девушек, которые и хороши собой, и тело у них упругое и гибкое, и кожа у них гладкая, и волосы у них густые и пышные, и все-таки они ежедневно появляются в этом единственном, естественном для них маскарадном костюме и ежедневно глядятся в зеркало, хотя видят в нем одно и то же лицо. Лишь когда они уж очень поздно возвращаются домой с вечеринки, их лицо в зеркале кажется им усталым, отекишим, серым, всем надоевшим и уже почти невыносимым».

«Однако по дороге сюда я вас неоднократно спрашивал, находите ли вы мою девушку красивой, но вы каждый раз отворачивались и оставляли мой вопрос без ответа. Скажите, вы желаете мне зла? Почему вы не хотите меня утешить?»

Я уперся каблуками в тень дома и учтиво ответил: «Вас незачем утешать. Ведь вас любят». При этом я, чтобы не простудиться, прикрывал рот носовым платком с узором из синих виноградин.

Теперь он обернулся ко мне и прижался лицом к низенькой спинке скамьи: «Видите ли, в общем-то у меня еще есть время, я все еще могу разом покончить с этой любовью, совершив какой-то бесчестный поступок, либо просто изменить ей или уехать в какую-нибудь далекую страну. Ибо я в самом деле очень сомневаюсь, нужно ли мне подвергать себя таким волнениям. Ведь я ни в чем не уверен, и никто не может точно сказать, куда это меня заведет или сколько продлится. Когда я иду в винный погребок, намереваясь напиться, то точно знаю, что в этот вечер буду пьян; но в моем случае! Через неделю мы с ней собираемся вместе с одним знакомым семейством отправиться на загородную прогулку; из-за этого у меня уже две недели на душе кошки скребут. От нынешних поцелуев меня клонит в сон, чтобы хотя бы во сне помечтать без помех. А я противлюсь этому и отправляюсь на ночь глядя гулять, чтобы

все время двигаться, чтобы лицо мое то холодело, то горело, словно от ветра, чтобы я ощущал рукой розовую ленту, лежащую у меня в кармане, чтобы испытывать страшные опасения на свой счет, не иметь сил следовать за вами и тем не менее выносить ваше общество, сударь, хотя в другое время я бы ни за что не стал так долго беседовать с вами».

Мне было очень холодно, да и небо уже начало окрашиваться в белесые тона. «Не поможет вам ни бесчестье, ни измена или отъезд в дальние страны. Вам придется себя убить», – сказал я и даже улыбнулся.

Напротив нас, по ту сторону дороги, росли два куста, а за ними, внизу, лежал город. Он был еще немного освещен.

«Хорошо! – воскликнул он и ударил по скамье своим крепким изящным кулачком, который, однако, тут же разжал. – Но вы-то живете. Не накладываете на себя руки. Вас никто не любит. Вы ни к чему не стремитесь. Не властны даже над следующим своим шагом. И говорите мне такое. Да вы подлец, сударь. Любить вы не можете и не испытываете никаких чувств, кроме страха. Вот, поглядите-ка на мою грудь».

И он торопливо расстегнул пальто, жилет и сорочку. Грудь у него и впрямь была широкая и красивая.

Я начал рассказывать: «Да, время от времени нас раздражают противоречивые чувства. Вот, например: этим летом я жил в одной деревне. Расположена она на берегу реки. Я все очень живо помню. Частенько я сиживал на берегу, откинувшись на спинку скамьи. Неподалеку находилась небольшая гостиница. Оттуда часто слышалась игра на скрипке. Молодые крепкие парни сидели в саду за столиками с пивом и говорили об охоте и любовных интрижках. А на другом берегу в это время возникали призрачные горы».

Тут я криво ухмыльнулся, встал и, зайдя за скамью сзади, ступил на газон и сломал несколько опущенных снегом веточек. Потом наклонился к его уху и сказал шепотом: «Должен вам признаться: я обручен».

Он ничуть не удивился тому, что я встал: «Вы обручены?» Было видно, что он совсем обессилел, и только спинка скамьи удерживала его в сидячем положении. Потом он снял шляпу, и я увидел его прическу: благоухающие волосы красиво обрамляли его круглую голову и заканчивались сзади овальным мыском на шее, как было модно в эту зиму. Я порадовался, что догадался именно так ему ответить. «Ведь ему-то легко на людях, – говорил я себе, – и шея у него гибкая, и руки его слушаются. Он может, непринужденно беседуя, провести даму через весь зал, и его ничуть не беспокоит, что за окнами льет дождь или что там, в углу, одиноко стоит человек и мучается от застенчивости, и вообще, что происходит нечто, достойное сожалений. А он себе галантно расшаркивается перед дамами. Но теперь и его проняло».

Тут мой знакомец вытер батистовым платком лоб и сказал: «Пожалуйста, положите руку мне на лоб. Очень вас прошу». Так как я не тотчас выполнил его просьбу, он молитвенно сложил руки.

Мы с ним сидели на вершине холма, словно в темной комнате – до такой степени наши душевные тревоги застигли нас все вокруг; а ведь до этого мы оба успели заметить и начинающийся рассвет, и предрассветный ветерок. Мы с ним чувствовали взаимно душевную близость, хотя вовсе не испытывали приязни друг к другу, но и расстаться не могли, ибо оба ощущали стены темной комнаты как реальные и прочные. Но здесь можно было не бояться, ибо веток над нашими головами или деревьев, что росли напротив, не было нужды стыдиться.

Вдруг мой знакомец вытащил из кармана складной нож, неторопливо раскрыл его, как бы ненароком вонзил его себе в предплечье и оставил в ране. Тотчас хлынула кровь. Круглое его лицо побелело. Я выхватил из его руки нож, разрезал рукава пальто и фрака и разорвал рукав сорочки. Потом выбежал на дорогу взглянуть, нет ли кого поблизости, чтобы мне помочь. Кусты и деревья стояли недвижно и просматривались насквозь. Я вновь бросился к раненому и стал отсасывать кровь; рана оказалась глубокой. Тут я вспомнил о доме садовника. Я взбежал

по ступенькам, ведущим к газону перед левым торцом дома, быстро оглядел двери и окна и принялся бешено звонить и колотить ногами во входную дверь, хотя с первого взгляда понял, что дом пуст. Потом опять кинулся к раненому; кровь текла уже тоненькой струйкой. Я смочил носовой платок снегом и кое-как перевязал рану.

«Дорогой мой, дорогой, – приговаривал я. – Это из-за меня ты сам себя ранил. А ведь жизнь твоя так прекрасна, вокруг тебя столько друзей, ты можешь среди бела дня пойти гулять и видеть повсюду множество нарядных людей, которые сидят за столиками или прогуливаются по дорожкам парка. Подумай только, весной мы с тобой поедem в Стромовку, – хотя нет, поедem-то, к сожалению, не мы с тобой, что правда, то правда; это вы с Аннерль покaтите туда в коляске. Как вам будет весело! О, поверь мне, прошу, солнце будет ярко сиять, и люди будут любоваться вами. Кругом звучит музыка, и топот копыт разносится далеко окрест, и не о чем горевать, и вокруг радостная суeta, и звуки шарманок доносятся из аллей».

«О Боже, – сказал он, вставая; потом оперся о мое плечо, и мы пошли. – Мне ничем не поможешь. Ничто меня не радует. Простите. Уже поздно? Наверное, завтра утром мне предстояли какие-то дела. О Боже».

Свет фонаря, горевшего где-то вверху, у стены, отбрасывал тени от стволов на покрытую свежим снежком дорогу перед нами, а тени от их голых ветвей, искривленные и даже как бы изломанные, лежали уже на склоне ниже дороги.

Приготовления к свадьбе в деревне

I

Когда Эдуард Рабан вышел из парадного, он увидел, что идет дождь. Правда, не сильный.

На тротуаре прямо перед ним с разной скоростью двигалось множество людей. Время от времени кто-нибудь из них отслаивался от общего потока и переходил на другую сторону улицы. Маленькая девочка держала на вытянутых руках сонную собачку. Двое мужчин беседовали. Один из них поднял ладони кверху и равномерно покачивал их, словно держа на весу что-то тяжелое. На глаза Рабану попала дама, у которой на шляпке громоздилась целая гора лент, пряжек и цветов. Мимо пробежал молодой человек с тросточкой; левая рука неподвижно лежала у него на груди, словно парализованная. То и дело появлялись мужчины с зажженной трубкой в зубах, выдыхавшие продолговатые облачка табачного дыма. Трое мужчин – у двоих легкие пальто были перекинута через согнутую в локте руку – то и дело отрывались от стены дома и подходили к краю тротуара; поглядев вдоль улицы, они, не прерывая беседы, возвращались обратно.

В просветы между сновавшими по тротуару пешеходами были видны ровные ряды плиток мостовой. Лошади с натужно вытянутыми шеями катили по ней коляски на высоких тонких колесах. Люди на мягких сиденьях, откинувшись на спинки, молча глядели на прохожих, на лавки, на балконы, на небо. Когда один экипаж обгонял другой, лошадям приходилось так тесно жаться друг к другу, что упряжь провисала и болталась у их ног. Животные налегали на шлейки, экипаж резво катился, покачиваясь из стороны в сторону и описывая дугу вокруг передней коляски, потом лошади вновь расступались, и лишь их узкие спокойные головы по-прежнему клонились друг к другу.

Несколько человек поспешно укрылись от дождя в подворотне дома и, стоя на сухих мозаичных плитках, медленно оглядывались и следили, как ломаются струйки дождя, втиснутого в узкий проулок.

Рабан почувствовал, что уже устал. Губы его были того же блеклого цвета, что и выцветший толстый галстук с мавританским узором. Дама, стоявшая у порога дома напротив, которая все это время рассматривала носки собственных туфель, выглядывавших из-под облегающей юбки, теперь смотрела на него. Смотрела без всякого интереса, да и скорее не на него, а на дождь перед ним или же на таблички с названиями фирм, висевшие как раз над его головой на двери дома. Рабану померещилось, что в ее взгляде сквозило легкое удивление. «Если бы я мог ей все рассказать, – подумал он, – она бы не удивлялась. В конторе работаешь с таким перенапряжением, что потом нет сил по-настоящему порадоваться отдыху. Но твой труд вовсе не дает тебе права ожидать, что все будут относиться к тебе с любовью; наоборот, ты чувствуешь себя одиноким, абсолютно чужим и вызываешь разве что зависть. Покуда говоришь это о *ком-то*, а не о себе, еще ничего, терпимо, и даже можно об этом рассказывать, но как только осознаешь, что речь о тебе самом, мысль эта буквально пронзает тебя насквозь и ты весь кипишь от возмущения».

Согнув ногу в колене, он поставил на землю свой чемоданчик, обтянутый клетчатым сукном. Дождевая вода уже текла вдоль бордюра ручьями, устремляясь к канализационным решеткам. «Но если я сам делаю различие между *другими* и *собой*, какое право я имею на них жаловаться. Вполне вероятно, что они правы, но я слишком устал, чтобы учитывать все. Я слишком устал даже для того, чтобы без особых усилий проделать путь до вокзала, а ведь он недалеко. Почему же я не остаюсь в городе на эти свободные дни, чтобы отдохнуть? Все

же я поступаю неразумно. Я уверен, что разболеюсь от этой поездки. Комната у меня будет недостаточно удобная, в деревне это неизбежно. Кроме того, сейчас только начало июня, и в деревне в это время года еще очень прохладно. Правда, я это предусмотрел и оделся потеплее, но мне придется разделять компанию людей, имеющих привычку гулять поздно вечером. Там есть пруды, и гулять ходят вдоль этих прудов. Я наверняка простужусь. А вот в разговорах я почти не буду участвовать. Ведь я не могу сравнить эти пруды с другими, расположенными в дальних странах, ибо я нигде не бывал, и слишком стар, чтобы говорить о луне, таять от блаженства и мечтательно таскаться по кучам мусора, выставляя себя на посмешище».

Люди шли и шли мимо, слегка сутулясь и держа над головами темные зонтики. Проехала телега, груженная железными брусьями; сидевший на куче соломы возница так беззаботно вытянул ноги, что одна нога едва не тащилась по земле, в то время как другая надежно покоилась на соломе и тряпках. Вид у него был такой, будто сидит он где-то в поле и погода стоит прекрасная. Однако лошадьми он правил весьма бдительно, так что его телега, гремя железом, удачно лавировала в общей толчее. На блестящих от дождя плитках мостовой было видно, как отражение железных брусьев медленно и извилисто скользило от одного ряда плиток к другому. Маленький мальчик, стоявший рядом с той дамой, был одет в какую-то бесформенную хламиду, словно старик виноградарь. Она ниспадала с него колоколом и была перехвачена ремешком лишь у самых подмышек. Шапка его смахивала на горшок кверху доньшком, с которого к левому уху мальчика свисала кисточка. Мальчик радовался дождю. Выбежав из подворотни, он подставил под струи лицо и широко открыл глаза. На каждой луже он прыгал, так что брызги летели во все стороны, и прохожие корили его за это. Дама подозвала мальчика, крепко взяла его за руку и больше не отпускала; но мальчик не заплакал.

Рабан испугался. Может, уже поздно? Пальто и пиджак у него были расстегнуты, так что карманные часы удалось вытащить довольно быстро. Но они стояли. Рабан нервно спросил у стоявшего за его спиной человека, который час. Тот был увлечен разговором, так что ответил, продолжая весело смеяться: «Пожалуйста, четыре с минутами» – и тут же отвернулся.

Рабан торопливо раскрыл зонт и взял в руку чемоданчик. Но сразу выйти на улицу не смог, так как дорогу ему загродили несколько суетящихся женщин, которых пришлось пропустить вперед. При этом он смотрел сверху вниз на красную шляпку какой-то маленькой девочки; шляпка была из крашеной соломки, поля у нее были волнистые, а тулья обрамлена веночком из зелени.

Он все еще мысленно созерцал эту шляпку, когда уже шагал по улице, полого поднимавшейся в том направлении, куда ему нужно было идти. Потом он забыл о шляпке, ибо само продвижение вперед потребовало напряжения всех сил: чемодан оттягивал руку, а ветер дул прямо в лицо, развевая полы пальто и выгибая наружу зонт.

Рабан уже тяжело дышал; где-то поблизости, в глубине квартала, башенные часы пробили без четверти пять; из-под зонта ему были видны лишь ноги людей, шагающих ему навстречу, и слышен скрежет колес о мостовую, когда лошади, пугливые, как горная лань, тормозя, с силой упирались в нее своими стройными ногами.

И ему подумалось, что у него достанет сил вынести эти долгие и тоскливые две недели. Ибо две недели – это все же какое-то ограниченное время, и хотя неприятности, конечно, будут нарастать, зато время, в течение которого их придется выносить, будет сокращаться. А это, вне сомнения, придаст ему мужества. «Все те, что сидят вокруг меня в конторе и с наслаждением меня мучают, постепенно отодвинутся на задний план без каких-либо усилий с моей стороны, если в эти две недели все сложится благополучно. И я смогу быть слабым и тихим и позволять делать с собою что угодно; и все это будет казаться вполне естественным и сойдет благополучно лишь благодаря самому течению времени.

А кроме того: разве я не могу поступить так, как всегда поступал в детстве, когда мне грозила какая-нибудь неприятность? Ведь не обязательно даже самому ехать в деревню, в этом

нет никакой нужды. Я пошлю туда лишь свое тело. И если оно, пошатываясь, вывалится из двери моей комнаты, то это будет свидетельствовать не об овладевшем мной страхе, а лишь о ничемности моего тела. И если оно спотыкается на лестнице, если в слезах едет в деревню и с плачем съедает там свой ужин, это не будет показателем охватившего меня волнения. Ибо я в это время спокойно лежу в своей постели, аккуратно укрытый желто-коричневым одеялом, и дышу воздухом, проникающим в комнату сквозь щели окна. Эти коляски и эти люди едут и идут по земле в замедленном темпе лишь потому, что я еще сплю. Кучера и пешеходы испуганно замирают и не смеют двинуться вперед ни на шаг, пока взглядом не испросят у меня разрешения. Я милостиво киваю, и они трогаются с места.

А я сам, лежа в постели, принимаю вид жука – не то майского, не то рогача, не помню».

Перед одной из витрин, в которой за мокрым стеклом висели на стерженьках мужские шляпы, Рабан остановился и, вытянув губы трубочкой, осмотрел их. «Ну, моя шляпа еще протянет эти две недели, – подумал он и пошел дальше. – А если кому-то я покажусь невыносимым из-за шляпы – что ж, тем лучше».

«Да, я принимал вид большого жука. Прижимал лапки к округлому брюшку, как будто жук впал в зимнюю спячку, и шептал несколько слов: давал указания моему несчастному телу, которое стоит рядом, сутулясь. И вот оно уже задвигалось – поклонилось и быстро вышло из дома; оно исполнит все, что нужно, причем наилучшим образом, пока я спокойно лежу в постели».

Он дошел до арки, которой заканчивался крутой переулочек, выходящий на небольшую площадь, обрамленную множеством уже освещенных лавок. В середине площади, куда свет от витрин почти не достигал, стоял невысокий памятник – фигура человека, сидящего в глубокой задумчивости. Пешеходы сновали мимо освещенных витрин, словно столбики густой тени, лужи блестели, отражая свет во все стороны, так что вид у площади непрерывно менялся.

Рабан довольно далеко продвинулся по площади, то и дело уворачиваясь от пронесшихся мимо экипажей, выбирая плитки посуше и перепрыгивая с одной на другую; раскрытый зонт он держал при этом высоко над головой, чтобы видеть все вокруг. Наконец он добрался до фонарного столба на низком и квадратном каменном основании: то была остановка трамвая.

«Ведь в деревне меня как-никак ждут. Может быть, уже беспокоятся? Но ведь всю эту неделю, что она в деревне, я ей ни разу не написал и сделал это лишь нынче утром. Наверное, она уже воображает меня совсем другим. Может быть, думает, что я, заговорив с человеком, тут же на него набрасываюсь, а ведь это мне не свойственно; или что я обниму ее по приезду, но я и этого не сделаю. И только разозлю ее, если попытаюсь задобрить. Ах, если бы я мог, пытаясь задобрить, окончательно ее разозлить!»

Тут мимо него медленно проехала открытая коляска, в которой на лавках, обтянутых темной кожей, сидели две дамы, освещенные горевшими спереди фонарями. Одна сидела, откинувшись назад и скрыв лицо под вуалью и тенью от полей шляпы. А вторая, наоборот, держалась подчеркнуто прямо, и шляпка у нее была крошечная, обрамленная лишь узкими перьями. Каждый мог ее лицезреть. Нижнюю губу она слегка прикусила.

Как только коляска проехала мимо Рабана, фонарный столб помешал ему увидеть лошадь, запряженную в эту коляску; потом между ним и дамами втиснулся какой-то кучер в высоченном цилиндре, сидевший на необычайно высоких козлах; коляска была уже далеко, а вскоре и вовсе свернула за угол домика, на который Рабан только теперь обратил внимание, и исчезла из виду.

А Рабан все смотрел вслед коляске, вытянув шею и положив ручку зонта на плечо, чтобы лучше видеть. Большой палец правой руки он сунул в рот и слегка прикусил. Чемоданчик лежал рядом, опрокинувшись боком на землю.

Экипажи один за другим пересекали площадь, выскакивая из одного переулка и ныряя в другой, лошади летели над землей, словно выброшенные пращой, но их толчками рвущиеся вперед головы и шеи показывали, какого напряжения и каких сил стоил им этот полет.

У края тротуара всех трех сходящихся здесь улиц толпились кучки зевак, постукивающих тросточками о каменные плиты. Между ними виднелись островерхие будочки, в которых девушки продавали лимонад, были там и громоздкие уличные часы на тонких ножках, попадались и какие-то личности с большими яркими афишами на груди и спине, зазывавшими на разные увеселения, а также слуги... [*Двух страниц не хватает.*]

...небольшая компания. Несколько человек из этой компании заставили притормозить две шикарные коляски, ехавшие в сторону круто спускающегося переулка, попытавшись проскочить между ними; но когда вторая коляска пролетела, они влились в группу своих приятелей и гуськом двинулись вдоль тротуара, а потом гурьбой ввалились в двери кондитерской, ярко освещенные электрическими лампочками, висевшими над входом.

Трамвайные вагоны, проезжающие мимо, казались огромными и грохочущими, а те, что виднелись далеко, в глубине улиц, – расплывчатыми и тихими.

«Как она горбится, – подумал Рабан, вдруг явственно представив ее себе. – Никогда не выпрямится по-настоящему. Спина у нее, наверное, сутулая. Придется приглядеться. И губы у нее такие толстые, и нижняя – теперь припоминаю – сильно выступает вперед. А уж какое на ней платье! Я, конечно, ничего не смыслю в женских нарядах, но эти рукава в обтяжку, несомненно, уродливы и похожи скорее на повязку. Чего стоит одна ее шляпа: поля ее изогнуты так, что видишь то пол-лица, то ползатылка. Но глаза у нее красивые – карие, если не ошибаюсь. Все говорят, что глаза у нее красивые».

Когда трамвай остановился перед Рабаном, многие, стоявшие рядом, ринулись вперед, прижимая к плечу полуоткрытые зонты острием кверху. Рабана, взявшего чемоданчик под мышку, толпа потащила к трамваю, и он оступился в большую лужу, которой не заметил. В вагоне на лавке сидел ребенок и прижимал кончики пальцев обеих рук к губам, словно посылал кому-то воздушный поцелуй. Нескольким пассажирам, которые вышли на этой остановке, пришлось продвигаться вдоль вагона, чтобы выбраться из толчеи. Потом какая-то дама, обеими руками высоко подобрав подол длинной юбки, поднялась на первую ступеньку, в то время как провожавший ее господин, стоя на земле и схватившись рукой за поручень, продолжал ей что-то рассказывать. Среди желающих сесть в трамвай поднялся ропот. Что-то громко крикнул кондуктор.

Рабан, стоявший последним в группе ожидающих своей очереди войти, обернулся, услышав, что кто-то зовет его по имени.

«А, это ты, Лемент, – выдавил он и протянул подошедшему сзади молодому человеку мизинец, ибо остальными пальцами сжимал ручку зонта.

«Вот он каков – жених, едущий к невесте. Вид у него чертовски влюбленный», – сказал Лемент и улыбнулся, не разжимая губ.

«Да, прости, что я еду нынче, – откликнулся Рабан. – Я тебе днем написал. Конечно, я бы охотно поехал вместе с тобой завтра, но завтра суббота, все будет переполнено, а ехать далеко».

«Ну, это ничего. Правда, ты обещал, что мы поедем вместе, но когда человек влюблен... Что ж, поеду один. – Лемент стоял одной ногой на тротуаре, другой – на мостовой и покачивался, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую. – Ты собирался сесть на трамвай; он сейчас отъедет. Давай лучше пойдем пешком, я тебя провожу. Время у тебя еще есть».

«Разве? Мне кажется, уже поздно».

«Неудивительно, что ты боишься опоздать, но у тебя и впрямь еще есть время. Я не так боязлив, как ты, и потому только что упустил Гиллемана».

«Гиллемана? Разве он не собирается тоже пожить в деревне?»

«Собирается. Они с супругой хотят поехать туда на следующей неделе. Потому я и обещал Гиллеману встретиться с ним нынче, когда он идет из конторы. Он хотел дать мне какие-то указания касательно обстановки их квартиры, поэтому нам и надо было встретиться. Но я немного опоздал, мне нужно было сделать кое-какие покупки. И как раз когда я раздумывал, не пойти ли мне к ним домой, увидел тебя; удивился, заметив чемодан, и решил заговорить. Но сейчас уже поздно для визитов, и вряд ли стоит теперь идти к Гиллеманам».

«Конечно. Значит, у меня там будут знакомые. Впрочем, супругу Гиллемана я никогда не видел».

«А она очень хороша собой. Волосы у нее светлые, а лицо – теперь, после болезни, – матово-бледное. Таких красивых глаз, как у нее, я никогда не видел».

«Скажи, что это такое: «красивые глаза»? Может, дело во взгляде? Мне ничьи глаза не казались красивыми».

«Ладно, я, наверное, слегка преувеличил. Но женщина она прехорошенькая».

Сквозь стекла кондитерской, расположенной в первом этаже, видны были посетители, сидевшие у самого окна за треугольным столиком; они ели, пили и читали газеты. Один из них опустил газету на стол и, держа чашку с кофе в руке, уголком глаза поглядывал на улицу. Позади этого столика, в глубине просторного зала, все места были заняты гостями, сидевшими небольшими группами. *[Двух страниц не хватает.]*

...«А вдруг дело это не такое уж неприятное, правда? Я хочу сказать – многие охотно взвалили бы на себя это бремя».

Они вышли на довольно темную площадь, которая на их стороне переулка начиналась раньше, ибо противоположная его сторона все еще тянулась. Та сторона площади, вдоль которой они двигались, была застроена сплошным рядом домов; такой же ряд, но начинавшийся значительно дальше, охватывал площадь с другой стороны, и казалось, что где-то в непроглядной дали оба ряда сходятся. Тротуар, тянувшийся вдоль неказистых домишек, был узок, здесь не видно было ни лавок, ни экипажей. На железном столбе, стоявшем в устье того переулка, из которого Рабан с Лементом вышли на площадь, висело несколько фонарей на двух горизонтальных железных кольцах, расположенных одно под другим. Трапезовидное пламя горело между вертикальными стеклами, прикрытое сверху темнотой, словно в домике с островерхой крышей, а уже в нескольких шагах от фонаря тьма стояла стеной.

«Но теперь уже наверняка слишком поздно, ты скрыл это от меня, и я опоздаю на поезд. Зачем ты это сделал? *[Четырех страниц не хватает.]*

...«Да разве это Пиркерсхофера, тоже радость невелика».

«Помнится, что имя встречается в письмах Бетти; он, кажется, стажер на железной дороге, я не ошибся?»

«Да, он стажер, и человек весьма неприятный. Ты согласишься со мной, лишь только увидишь этот его нос картошкой. Уверю тебя, когда гуляешь с ним по скучным полям... Впрочем, его уже перевели в другое место, и я думаю и надеюсь, что на следующей неделе его уже там не будет».

«Погоди, раньше ты сказал, что советуешь мне на нынешнюю ночь остаться в городе. Я подумал и решил, что получится нехорошо. Ведь я написал, что приеду сегодня вечером, меня будут ждать».

«Ну, это уладить проще простого – отбей телеграмму».

«Конечно, это бы можно... но с моей стороны будет некрасиво не приехать... К тому же я устал, так что лучше уж поеду; телеграмма может их напугать. Да и зачем все это, куда сегодня пойдешь?»

«Тогда тебе и вправду лучше поехать. Только я думал... Да я и не мог бы нынче с тобой никуда пойти, я плохо выспался, забыл тебе об этом сказать. Так что я с тобой здесь попрощаюсь, не хочу тебя провожать через мокрый парк, мне ведь надо еще заглянуть к Гиллеманам.

Сейчас без четверти семь, добрым знакомым еще можно наносить визиты. Адью. Счастливого пути и всем привет!»

Лемент повернулся направо и протянул на прощанье правую руку, так что тот невольно на нее наткнулся.

«Адью!» – откликнулся Рабан.

Отойдя несколько шагов, Лемент крикнул ему вслед: «Послушай, Эдуард, закрой же зонтик, дождь давно кончился. Я не успел тебе это сказать».

Рабан молча закрыл зонт, и блекло-серое небо сомкнулось над его головой.

«Хоть бы я сел не в тот поезд, – подумал Рабан. – Тогда мне бы казалось, что дело, ради которого я еду, уже началось, и когда я, обнаружив ошибку, поехал бы обратно и сошел на нужной станции, на душе у меня было бы уже намного спокойнее. Но если окажется, что местность там скучная, как выразился Лемент, то это может быть и к лучшему. Постояльцы будут больше сидеть в своих комнатах, и никто не будет знать, где все остальные; ибо когда в окрестностях имеются хоть какие-то древние развалины, обязательно устраивается совместная прогулка к этим развалинам, о чем наверняка все уже заранее договорились. И тогда каждый обязан радоваться этой прогулке и не имеет права ее пропустить. Но если никакой достопримечательности в округе нет, то нет и предварительной договоренности, ибо ожидается, что ради компании все и так с готовностью сорвутся с места, когда кому-нибудь взбредет в голову отправиться гуртом в пеший поход; для этого достаточно послать служанку к остальным постояльцам, сидящим по своим комнатам и пишущим письмо или читающим книгу, и все тут же придут в восторг от этой затеи. Ну, оградить себя от таких приглашений несложно. И все же я не уверен, что справлюсь с этой задачей, потому что это вовсе не так легко, как мне кажется сейчас, когда я еще один и могу делать все, что душе угодно, могу вернуться, если захочу, ведь там мне не к кому будет прийти в гости, когда захочется, и не с кем совершать тягостные прогулки, во время которых тебе с гордостью показывают свои хлеба в поле или собственную каменоломню. Ибо ни в ком нельзя быть уверенным, даже в давнишних знакомых. Разве Лемент не был нынче внимателен ко мне, он мне кое-что описал, причем так, как я это увижу. Он сам заговорил со мной и пошел меня провожать, хотя ему ничего не было от меня нужно и даже были другие планы. Но теперь он неожиданно ушел, а ведь я ни единым словом не мог его обидеть. Правда, я отказался провести с ним вечер в городе, но это было так естественно и не могло его задеть, ведь он человек вполне разумный».

Вокзальные часы пробили без четверти семь. Рабан даже замер на месте – так сильно забило сердце; потом быстро зашагал вдоль пруда, попал на узкую и плохо освещенную дорожку, обрамленную раскидистыми кустами, вырвался, наконец, на площадку, где множество скамеек стояли торчком вокруг молодых деревьев, потом, уже медленнее, вышел через проем в ограде на улицу, пересек ее, вскочил в двери вокзала и довольно быстро нашел окошко билетной кассы; оно оказалось закрытым, так что пришлось постучать. Кассир выглянул, буркнул что-то вроде «опаздываете», взял деньги и швырнул на окошко билет и сдачу. Рабан хотел было проверить, не обсчитал ли его кассир, – ему показалось, что сдачи маловато, – но проходивший мимо железнодорожник слегка подтолкнул его к стеклянной двери на перрон. Крикнув вслед тому «Спасибо, спасибо!», Рабан огляделся и, не найдя кондуктора, поднялся по лестнице в ближайший вагон, одной рукой переставляя перед собой чемодан со ступеньки на ступеньку, а другой опираясь на зонт. В вагоне было светло благодаря яркому освещению крытого перрона, в котором стоял поезд. За некоторыми окнами – все они были закрыты доверху – видны были яркие дуговые фонари, висевшие совсем рядом, и дождевые капли, медленно стекавшие по стеклам, на их фоне казались белыми, причем некоторые капли держались, как живые. Рабан слышал шум перрона и после того, как закрыл за собой дверь вагона и сел с краю на деревянную скамью грязно-бурого цвета, где еще оставалось свободное место. Он увидел спины и затылки людей, сидевших у окна, а на скамье напротив – запрокинутые вверх лица.

Кое-где к потолку вагона поднимались спиральные столбики дыма от сигар и трубок, один такой столбик вяло проплыл перед лицом какой-то девушки. Многие пассажиры пересаживались и громко обсуждали причины своего перемещения или же молча перекладывали свой багаж из одной синей сетки, висевшей над скамьей, в другую. Если же трость или окантованное ребро чемодана высывались наружу, то владельцу делали замечание. Он вставал и наводил порядок. Рабан тоже забеспокоился и задвинул свой чемоданчик под сиденье.

Слева от Рабана два господина, сидевшие у окна друг против друга, говорили о ценах на разные товары. «Это коммивояжеры, – подумал Рабан и, отдышавшись немного, стал их разглядывать. – Коммерсант посылает их в сельскую местность, они покорно едут по железной дороге и в каждой деревне ходят от лавки к лавке. Иногда ездят из одной деревни в другую на лошадях. И нигде не задерживаются подолгу, так как обязаны вечно торопиться и все время говорить только о товарах. Как радостно трудиться, когда у тебя такая приятная профессия!»

Тот, что помоложе, рывком вытащил из заднего кармана брюк блокнот, полистал его, наскоро лизнув языком кончик указательного пальца, нашел нужную страницу и стал читать ее вслух, водя ногтем по строчкам. Закончив, он взглянул на Рабана и, говоря уже о ценах на пряжу, продолжал на него смотреть, как смотрят в одну точку, чтобы не забыть того, что собираются сказать. При этом он хмурился. Блокнот он все еще держал в левой руке, заложив большим пальцем ту страницу, которую читал вслух, чтобы заглянуть в нее, если понадобится. Блокнот дрожал мелкой дрожью, ибо держал он его на весу, а вагон стучал по рельсам, как молот по наковальне.

Второй коммивояжер сидел, откинувшись к спинке скамьи, внимательно слушал и ритмично кивал головой. Чувствовалось, что он отнюдь не со всем согласен и позже выскажет свое мнение.

Опершись ладонями о колени и наклонившись вперед, Рабан глядел в просвет окна между головами коммивояжеров и видел проносящиеся вблизи и проплывающие вдаль огни. Из сказанного первым коммивояжером он ровно ничего не понял, не понял бы и возражений второго. Для этого требовалась солидная подготовка, поскольку они оба, видимо, смолоду имели дело с товаром. И уж если они столько раз держали в руках катушку ниток и столько раз вручали ее покупателю, то, естественно, знают ее цену и могут о ней говорить, пока за окном наплывают и пролетают мимо деревни, удаляясь в глубь страны и исчезая для нас навсегда. А ведь в этих деревнях живут люди, и, может быть, там тоже от лавки к лавке бродят коммивояжеры.

В другом конце вагона поднялся со своего места здоровенный верзила с колодой играль-ных карт в руке и на весь вагон крикнул: «Эй, Мария, зефировые сорочки ты тоже упаковала?» – «Ну, конечно», – откликнулась женщина, сидевшая напротив Рабана. Она успела уже вздремнуть, и когда верзила разбудил ее своим вопросом, она ответила ему так тихо, словно адресовалась к Рабану. «Ведь вы едете на ярмарку в Юнгбуцлау, верно?» – обратился к ней разговорчивый коммивояжер. – «Да, в Юнгбуцлау». – «Сейчас там большая ярмарка, верно?» – «Да, большая». Глаза у нее слипались, она оперлась левым локтем о синий узелок, лежавший у нее на коленях, а щекой – о ладонь, при этом щека расплющилась, а кончики пальцев уперлись в скулу. «Как она еще молода», – сказал тот же коммивояжер.

Рабан вынул из жилетного кармана полученную от кассира сдачу и пересчитал. Каждую монетку он долго держал перед глазами, зажав ее между большим и указательным пальцами и даже слегка поворачивая кончиком указательного пальца.

Сперва он долго разглядывал портрет императора, потом заинтересовался лавровым венком и стал изучать ленту, которой концы венка скреплялись у императора на затылке. Убедившись, что сумма сходится, он ссыпал деньги в большое черное портмоне. Но только он собрался сказать разговорчивому коммивояжеру: «Вам не кажется, что они – муж и жена?»,

как поезд остановился. Грохот колес оборвался, кондукторы объявили название станции, и Рабан промолчал.

Поезд тронулся так медленно, что легко было себе представить, как постепенно приходят в движение колеса, но местность вдруг резко пошла под уклон, и поезд понесся с такой скоростью, что высокие столбы моста, на которых он висел, то словно разбегались за окнами вагона, то вновь прижимались друг к другу.

Теперь Рабану нравилось, что поезд едет так быстро, ибо ему очень не хотелось ночевать на станции. «На дворе темно, я там никого не знаю, а до дома далеко. Но и днем там тоже ужасно. А разве на следующей станции не то же самое? Или на предыдущей и на всех остальных? Или в деревне, куда я еду?»

Коммивояжер вдруг заговорил громче. «А мне еще так долго ехать», – подумал Рабан. «Сударь, ведь вы не хуже меня знаете, что фабриканты засылают своих агентов в самые что ни на есть медвежьи углы и те ползают на брюхе перед каждым паршивым лавочником; думаете, им предлагают товар по другой цене, чем нам, оптовикам? Сударь, позвольте вам сказать: по той же самой, только вчера убедился в этом – видел своими глазами. Я считаю, что это подло. Нас просто загоняют в угол, в нынешних условиях нам вообще невозможно заниматься коммерцией: нас загнали в угол». Коммивояжер опять бросил взгляд на Рабана, причем не стеснялся слез, набежавших ему на глаза; губы его тряслись, и, чтобы унять дрожь, он прижимал ко рту костяшки согнутых пальцев. Рабан откинулся назад и стал легонько пощипывать усы.

Сидевшая напротив торговка проснулась и с улыбкой разгладила обеими руками лоб. Коммивояжер заговорил тише. Женщина стала устраиваться поудобнее, словно вновь собиралась поспать; теперь она уже полулежала на лавке, подложив под голову свой узелок и сонно вздыхая. Юбка сильно обтянула ее правое бедро. За торговкой сидел господин в кепи и читал толстенную газету. Девушка, сидевшая напротив него – вероятно, его родственница, – склонив набок голову, попросила его открыть окно: стало очень жарко. Не отрываясь от газеты, он сказал, что непременно выполнит ее просьбу, только вот дочитает до конца статью; он показал ей, какую именно.

Торговке больше не удалось заснуть, она села прямо и стала глядеть в окно, потом перевела взгляд на керосиновый фонарь, горевший под потолком вагона. Рабан ненадолго прикрыл глаза.

Когда он их открыл, торговка как раз впилась зубами в кусок пирога с яблочным повидлом. Узелок, лежавший рядом с ней, был развязан. Один коммивояжер молча курил сигару и то и дело постукивал пальцем по ее кончику, словно стряхивая пепел. Второй ковырялся острием ножа в механизме карманных часов.

Из-под полуприкрытых век Рабан еще заметил, как господин в кепи потянул за ремень на окне. Прохладный воздух ворвался в вагон, с крюка упала чья-то соломенная шляпа. Рабан померещилось, что он просыпается у себя дома и поэтому воздух такой свежий, или что кто-то открыл дверь в соседней комнате, или же что вообще все это ему только кажется; он стал глубоко дышать и быстро заснул.

II

Ступени вагона еще немного дрожали, когда Рабан спускался по ним на перрон. По его лицу, привыкшему к вагонному теплу, хлестнуло дождем, и он прикрыл глаза. Дождь стучал по жестяной крыше навеса перед станционным зданием, но далеко окрест было тихо, и дождь ощущался там лишь как ритмичные порывы ветра. К Рабану подбежал запыхавшийся босоногий мальчишка – он не заметил, откуда тот взялся, – и стал клянчить, чтобы Рабан дал ему поднести чемодан, так как идет дождь. Но Рабан возразил: «Из-за дождя я и поеду на omnibusе. Поэтому помощь мне не нужна». Мальчишка скроил рожу, показывающую, что идти под

дождем, когда кто-то другой несет твой чемодан, куда благороднее, чем трястись на омнибусе, потом повернулся и умчался прочь. Рабан хотел было его удержать, но не успел.

На станции горело всего два фонаря, в их тусклом свете Рабан увидел дежурного, когда тот вышел из какой-то двери. Дежурный решительно шагнул под дождь и направился к паровозу, возле которого остановился, скрестив на груди руки, и так стоял, пока машинист не свесился через поручни и не заговорил с ним. Дежурный позвал железнодорожного мастера, тот пришел; потом его отослали. За некоторыми окнами поезда виднелись лица пассажиров; поскольку смотреть было не на что, кроме весьма непримечательного станционного здания, то в их сонных глазах читалась обычная дорожная скука. С проселочной дороги на перрон торопливо вошла девушка с цветастым зонтиком; поставив раскрытый зонт на землю под навесом, она села, раздвинула колени и стала стряхивать воду с юбки, чтобы та побыстрее просохла. Горело только два фонаря, так что лицо девушки виделось лишь смутным пятном. Железнодорожный мастер, проходя мимо девушки, попенял ей за то, что с зонта натекали лужи, показал, округлив руки, какой величины эти лужи, а потом, тоже округлым жестом, похожим на движения ныряющих рыб, дал ей понять, что ее зонт еще и загоразживает проход.

Поезд тронулся и поплыл перед глазами, словно нескончаемая раздвижная дверь, и за рядами тополей по ту сторону рельсов обнаружился темный провал такой необозримой ширины, что дух захватывало. Что там было? То ли пустое пространство, то ли лес, а может, пруд или дом, в котором все уже спали, церковная колокольня, либо овраг меж холмов; никто бы не осмелился туда сунуться, но, с другой стороны, кто бы мог удержаться?

И когда Рабан вновь увидел дежурного – тот уже стоял перед дверью своей конторы, – он ринулся к нему с вопросом: «Скажите, пожалуйста, далеко ли до деревни? Мне надо туда как-то добраться».

«Нет, тут недалеко, четверть часа пешком, а на омнибусе – ведь сейчас дождь – доедете за пять минут».

«Да, льет как из ведра. Неудачная весна нынче», – ответил Рабан.

Дежурный уперся правой рукой в бок, и в треугольник между его рукой и торсом Рабан увидел ту девушку, одиноко сидевшую на скамье; зонтик она уже закрыла.

«Я собрался отдохнуть на свежем воздухе, но с погодой не повезло. Собственно говоря, я ожидал, что меня встретят». Рабан огляделся, чтобы придать правдоподобие своим словам.

«Боюсь, вы опоздаете на омнибус. Он ждет не очень долго. Не стоит благодарности. Идите вон туда, между живыми изгородями».

Улица перед станционным зданием не была освещена, лишь из трех окошек низко над землей падал, не достигая дороги, смутный отблеск рассеянного света. Рабан на цыпочках пробирался по грязи, то и дело выкрикивая: «Кучер!», «Алло!», «Я тут!» Но в полной темноте попав в сплошные лужи, зашлепал по воде всей ступней, пока не уперся лбом во влажную лошадиную морду.

А вот и омнибус; Рабан быстренько поднялся в пустую кабину, опустился на скамью у окна за козлами и привалился спиной в угол: он сделал все, что от него зависело. Ибо если кучер спит, то к утру проснется, если он умер, то придет другой кучер или хозяин лошади, а если и этого не произойдет, то с утренним поездом приедут новые пассажиры, деловитые и нетерпеливые; они не станут ждать и поднимут шум. Во всяком случае, сейчас можно спокойно сидеть, можно даже задернуть занавески на окнах и ждать, когда омнибус дернется, отъезжая.

«Да, после всего, что я уже предпринял, можно быть уверенным, что завтра я приеду к Бетти и маме и что мне уже никто не помешает. Однако, правда и то, что мое письмо, как и следовало предвидеть, прибудет лишь завтра, и следовательно, я вполне мог бы сегодня остаться в городе и провести у Эльви приятную ночь, не думая о том, что на следующий день нужно опять тащиться на работу: эта мысль всегда портит мне все удовольствие. Однако ноги я все-таки промочил».

Вынув из жилетного кармана огарок свечи, он зажег его и поставил на скамью напротив. Стало так светло, что темнота за окнами слилась со стенами кабины, выкрашенными в черный цвет. Как-то забывалось, что под полом находились колеса, а впереди – запряженная лошадь.

Задрав на скамью ноги, Рабан энергично растер их, надел чистые носки и сел прямо. Тут он услышал, как со стороны станции кто-то крикнул: «Эй! Есть кто в омнибусе? Отзовитесь!»

«Да-да, есть, и пора бы уже ехать!» – откликнулся Рабан, приоткрыв дверь и наполовину высунувшись наружу; правой рукой он держался за косяк, а левую приложил козырьком ко рту.

Дождь тут же хлынул ему за воротник.

Появился кучер, закутанный в два распоротых по шву мешка и сопровождаемый бликами света, падавшего от амбарного фонаря в его руках на лужи под ногами. Кучер тут же хмуро пустился в объяснения: «Получилось так: сели мы с Лебедой играть в карты и только вошли во вкус, как прибыл поезд. Ну никак невозможно было оторваться. Если меня не поймут, я не обижусь. Кстати сказать, не могу взять в толк, зачем господину понадобилось ехать в эту грязную дыру. Однако доедем по-быстрому, так что и жаловаться будет не на что. А господин Пиркерс-хофер – это дежурный по станции – только сейчас заглянул к нам и сказал, мол, какой-то блондинчик явился и хочет ехать на омнибусе. Ну, тут уж я сразу спохватился и мигом вас кликнул – разве я не мигом вас кликнул?»

Он укрепил фонарь на конце дышла, и лошадь, понукаемая сиплым выкриком, тронула, а скопившаяся на крыше омнибуса вода, колыхнувшись, тонкой струйкой потекла внутрь, сквозь щель.

Дорога, видимо, была ухабистая, грязь налипала на спицы, вода веером разлеталась из-под колес, и кучер редко натягивал поводья и не торопил вымокшую под дождем лошадь.

Разве у кучера не было оснований винить во всем этом Рабана? Бесконечные лужи внезапно возникали в дрожащем свете фонаря и расступались волнами. И все это лишь потому, что Рабан ехал к своей невесте, к Бетти, миловидной стареющей девице. И кто бы стал, зайдя об этом речь, отдавать должное заслугам Рабана – хотя бы потому, что он был вынужден выносить упреки, которые ему, правда, никто не имел возможности высказать. Конечно, он ехал сюда по своей охоте, Бетти была его невеста, он ее любил, и было бы ужасно, начни она благодарить его за то, что он приехал; но тем не менее...

Он несколько раз ударился головой о стенку, к которой прислонился, потом отодвинулся и стал глядеть в потолок. Один раз рука, которой он опирался о колено, соскользнула. Но локоть так и остался зажатым между животом и бедром.

Омнибус ехал уже по улице, иногда в кабину падал свет от освещенного окна, к церкви вела каменная лестница – Рабану пришлось приподняться, чтобы увидеть ее нижние ступени, перед калиткой парка горел большой фонарь, однако статуя какого-то святого выступала черным силуэтом на фоне освещенной мелочной лавки. Теперь Рабан заметил, что свеча его догорела, и расплавленный воск, затвердев, неподвижно свисал со скамьи.

Когда омнибус остановился перед трактиром, шум дождя стал слышнее, но одновременно до слуха Рабана донеслись также и голоса постояльцев – вероятно, одно из окон было открыто; тут он заколебался – что лучше: сразу выйти или подождать, пока хозяин подойдет к омнибусу. Как было принято поступать в этой глухомани, он не знал, но Бетти наверняка уже успела всем рассказать о своем женихе, и от того, каким он им предстанет – великолепным или жалким, – отношение к ней улучшится или ухудшится, а значит, и к нему самому тоже. Но он не знал ни того, как к ней сейчас относятся, ни того, что именно она о нем рассказывала; тем труднее и неприятнее! Как прекрасен мой город и как прекрасна дорога домой! Если там идет дождь, едешь домой по мокрым каменным плитам мостовой на трамвае, а здесь – в трактир в замызганной колымаге по непролазной грязи. «Мой город далеко отсюда, и умри я сейчас от тоски по дому, сегодня меня уже никто туда не доставит. Ну, я, конечно, не умру – но дома мне бы подали заказанное на нынешний вечер блюдо, справа от тарелки лежала бы газета, слева

стояла бы лампа; а здесь мне дадут какую-нибудь ужасно жирную тряпню, – они же не знают, что у меня больной желудок, да хоть бы и знали... И газета будет не та, к которой я привык, и множество людей, чьи голоса я уже слышу, будут толпиться вокруг, и лампа будет на всех одна. Разве она даст достаточно света? Для игры в карты, может, его и хватит, а для чтения газеты?

Хозяин трактира не выходит встречать, ему плевать на гостей, он скорее всего вообще человек невоспитанный. Или же он знает, что я – жених Бетти, и считает это достаточным основанием, чтобы ради меня не утруждаться? Одно к одному – вот и кучер тоже заставил меня так долго ждать на станции. Ведь Бетти часто рассказывала, сколько ей пришлось вынести от похотливых мужчин и как ей приходилось отбиваться от их назойливых ухаживаний; может быть, и здесь то же самое...

Отказ

Когда, повстречав красивую девушку, я прошу ее: «Будь добра, пойдем со мной!» – а она молча проходит мимо, этим она как бы говорит: «Ты не герцог с победно-звонкой фамилией, не широкоплечий американец с осанкой индейца, с дивным разлетом твердо посаженных глаз, со смуглой кожей, омытой ветрами саванн и водами рек, бегущих к саваннам, ты не странствовал к Великим озерам и по ним, загадочным, бескрайним, раскинувшимся неведомо где. Так с какой стати, скажи на милость, мне, красивой девушке, с тобой идти?»

«Но ты забываешь – тебя тоже не катит по переулку плавно покачивающийся автомобиль, и что-то я не вижу втиснутых в ладные костюмы кавалеров твоей свиты, что, благоговейно осыпая тебя хвалами и почестями, следуют за своей госпожой строгим полукругом; твои груди аккуратно упрятаны под корсетом, но твои ноги и бедра с лихвой вознаграждают тело за эту вынужденную стесненность; на тебе платье из тафты с плиссировкой, какие, спору нет, весьма радовали нас еще прошлой осенью, но сейчас, в такой-то старомодной хламиде, чему ты улыбаешься?»

«Что ж, мы оба правы, и чтобы не убеждаться в этом окончательно и бесповоротно, не лучше ли отправиться домой каждому поодиночке – не так ли?»

Приговор

История для Ф.Б.

Это было воскресным утром, дивной весенней порой. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел в своей комнате, во втором этаже одного из приземистых, наскоро построенных зданий, что вереницей протянулись вдоль реки, слегка отличаясь одно от другого разве лишь высотой и колером покраски. Он только что закончил письмо другу юности, обретавшемуся теперь за границей, с наигранной медлительностью заклеил конверт и, облокотившись на письменный стол, устремил взгляд за окно – на реку, мост и холмы на том берегу, подернувшиеся первой робкой зеленью.

Он размышлял о том, как его друг, недовольный ходом своих дел дома, несколько лет назад буквально сбежал в Россию. Теперь у него была своя торговля в Петербурге, заладившаяся поначалу очень даже споро, но уже давно идущая ни шатко ни валко, если верить сетованиям друга во время его наездов на родину, раз от разу все более редких. Так он и мыкался без всякого толку на чужбине, окладистая борода странно смотрелась на его столь близком, с детства знакомом лице, чья нездоровая желтизна наводила теперь на мысль о первых признаках подкрадывающейся болезни. Друг рассказывал, что с тамошней колонией земляков, по сути, не общается, ни с кем из местных семейств тоже знакомств не завел, так что окончательно и бесповоротно направил свою жизнь в холостяцкую колею.

О чем писать столь очевидно сбившемуся с пути человеку, которому впору посочувствовать, но помочь нечем? Допустим, посоветовать вернуться на родину, начать новую жизнь здесь, возобновив – к чему нет никаких препятствий – прежние отношения и положившись, среди прочего, на помощь друзей? Но это означало бы не что иное, как сказать ему – чем мягче и бережней, тем для него болезненней, – что все прежние его начинания пошли прахом и надо поставить на них крест, пойти на попятный, вернуться сюда, где все будут опасно плясать на него именно как на возвращенца, и только немногие друзья отнесутся к нему с пониманием, но и для них он навсегда останется лишь постаревшим ребенком, обреченным безропотно слушаться своих никуда не уезжавших приятелей, ибо те сумели преуспеть дома. Да и есть ли уверенность, что все мучения, которые невольно придется причинить другу подобным посланием, не окажутся напрасными? Удастся ли вообще стронуть его с места, вытащить домой – ведь он сам не раз говаривал, что жизни на родине давно не понимает, – и тогда он, вопреки всему, останется на чужбине, только без нужды ожесточенный непрошеными советами и еще чуть больше отдалившись от своих и без того далеких друзей. Если же он вдруг и в самом деле последует совету, но – и не просто по склонности натуры, а под гнетом обстоятельств – впадет здесь в нищету и уныние, не обретя себя ни с помощью приятелей, ни без них, страдая от стыда и унижений, теперь-то уж окончательно лишившись родины и друзей, – разве в таком случае не правильнее для него оставить все как есть и продолжать жить на чужбине? А учитывая все обстоятельства, возможно ли рассчитывать, что ему и впрямь удастся повернуть здесь свои дела к лучшему?

Исходя из всех этих соображений, получалось, что другу, если вообще поддерживать с ним переписку, ничего существенного, о чем без раздумий напишешь даже самым дальним знакомым, сообщать нельзя. Он уже больше трех лет не был на родине, крайне неубедительно объясняя свое отсутствие политическим положением в России, смутная ненадежность которого якобы исключает для мелкого предпринимателя возможность даже самой краткой отлучки, – и это во времена, когда сотни тысяч русских преспокойно разъезжают по всему свету. Между тем именно за эти три года в жизни Георга очень многое переменялось. О кончине матери, последовавшей около двух лет назад, после чего Георгу пришлось зажить одним хозяйством с престарелым отцом, друг, видимо, еще успел узнать и выразил соболезнование

письмом, странная сухость которого объяснялась, вероятно, лишь тем, что вдали, на чужбине, воспроизвести в душе горечь подобной утраты совершенно невозможно. Георг, однако, после этого события гораздо решительнее взялся за ум и за семейное дело. То ли прежде, при жизни матери, по-настоящему самостоятельно развернуться ему мешал отец, ибо признавал в делах только одно мнение, свое собственное. То ли сам отец после смерти матери, хоть и продолжал работать, стал вести себя потише, то ли, и это даже очень вероятно, судьбе охотнее обычного пособил счастливый случай, – как бы там ни было, а за эти два года семейное дело, против всех ожиданий, резко пошло в гору. Штат служащих пришлось удвоить, оборот возрос впятеро, да и в грядущих успехах не приходилось сомневаться.

Друг, между тем, обо всех этих переменах понятия не имел. Прежде – в последний раз, кажется, в том самом письме с соболезнованиями – он все пытался уговорить Георга тоже перебраться на жительство в Россию, расписывая самые наилучшие виды, какие открываются в Петербурге именно в его, Георга, отрасли. А цифры при этом называл ничтожные в сравнении с объемами, которыми ворочает теперь Георг в своем магазине. Тогда Георгу не хотелось расписывать другу свои деловые успехи, а сейчас, задним числом, это тем более выглядело бы странно.

Вот он и ограничивался тем, что писал другу о всякой ерунде, какая без порядка и смысла всплывает в памяти в покойные воскресные часы. Хотелось одного: ни в коем случае не потревожить образ родного города, сложившийся в представлении друга за годы отсутствия, каким представлением друг, похоже, и предпочитал довольствоваться. В итоге как-то само собой вышло, что о предстоящей помолвке совершенно безразличного ему знакомого со столь же безразличной ему барышней Георг с довольно большими промежутками уведомил друга уже в трех письмах, вследствие чего тот, что никак в намерения Георга не входило, оным курьезным пустяком даже весьма заинтересовался.

И все же Георг предпочитал писать о подобной чепухе, нежели признаться, что сам вот уже месяц как помолвлен – с мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи. Он, кстати, часто беседовал с невестой об этом своем друге и о странностях их переписки.

– Выходит, он даже на свадьбу не приедет? – удивлялась та. – Мне кажется, я вправе увидеть всех твоих друзей.

– Да не хочется его беспокоить, – отвечал Георг. – Пойми меня правильно, он наверняка приедет, по крайней мере мне хочется так думать, но приедет безо всякой охоты, будет чувствовать себя обделенным, а может, и завидовать мне, и, не в силах устранить саму причину огорчения, конечно же, будет огорчен, что снова возвращается домой один. Один – ты хоть понимаешь, что это значит?

– Но разве не может он прослышать о нашей свадьбе от кого-то еще?

– Что ж, предотвратить этого я не могу, однако при его образе жизни это маловероятно.

– При таких друзьях, Георг, тебе вовсе не стоило бы жениться.

– Да, это наша с тобой общая вина, но даже сейчас мне не хотелось бы ничего менять.

А немного погодя, когда она, прерывисто дыша под его поцелуями, произнесла: «И все-таки меня это задевает», – он подумал, что и вправду ничего обидного не совершит, если начистоту напишет другу все как есть.

«Ну да, я такой, пусть таким меня и принимает, не могу же я перекроить себя в другого человека, более способного к дружбе с ним, нежели я сам».

И действительно, в пространном письме, написанном в это воскресное утро, Георг уведомил друга о своей помолвке вот в каких словах: «А самое радостное известие я припас напоследок. Я заключил помолвку с одной барышней, мадемуазель Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, которая поселилась в наших краях много позже твоего отъезда, так что вряд ли ты ее знаешь. Мне еще представится случай рассказать о своей невесте подроб-

нее, сегодня тебе довольно услышать, что я весьма счастлив, а в наших с тобой отношениях переменится лишь одно: вместо самого заурядного друга у тебя теперь будет счастливый друг. Вдобавок и в моей невесте, которая на днях сама тебе напишет, а сейчас шлет сердечный привет, ты обретешь задушевную подругу, что для холостяка отнюдь не безделица. Я знаю, многое удерживает тебя от приезда в родные места. Но разве моя свадьба – не подходящий повод хоть однажды махнуть рукой на все препоны? Впрочем, как бы там ни было, ты волен поступать без церемоний, сугубо по своему усмотрению».

С этим-то письмом в руках Георг и замер в долгом раздумье за письменным столом, устремив взор за окно. Знакомому, который, проходя внизу по улице, с ним поздоровался, он едва ответил отрешенной улыбкой.

Наконец, сунув письмо в карман, он вышел из комнаты и наискосок по коридорчику направился в комнату к отцу, куда не заглядывал уже несколько месяцев. Особой нужды туда заглядывать не было, ведь они с отцом постоянно виделись в магазине. И обедали в одно и то же время в одном трактире, хотя ужинали порознь, по своему хотению и вкусу, но после еще какое-то время сживали вместе в общей гостиной, каждый за своей газетой, если только Георг, как это чаще всего и бывало, не проводил вечер с друзьями или, как намечалось нынче, в гостях у невесты.

Георг удивился, до чего темно в отцовской комнате даже таким солнечным утром. Вот, значит, как застит свет высоченная стена, нависающая над их узким двориком. Отец сидел у окна в углу, где были собраны и развешены вещицы и фотографии в память о покойной матери, и читал газету, причем держал ее перед собой не прямо, а вкось, подлаживаясь глазами к какой-то старческой немощи зрения. На столе Георг разглядел остатки завтрака; судя по их виду, поел отец без всякого аппетита.

– А-а, Георг, – встрепенулся отец и тотчас направился ему навстречу.

На ходу его тяжелый халат распахнулся, полы резко разошлись в стороны. «Отец у меня все еще богатырь», – успел подумать Георг.

– Здесь же темень несусветная, – вымолвил он чуть позже.

– Верно, темень, – отозвался отец.

– А у тебя еще и окно закрыто?

– Мне так лучше.

– На улице-то совсем тепло, – как бы в подкрепление сказанному заметил Георг, присаживаясь.

Отец принялся убирать со стола посуду, переставляя ее на комод.

– Я только хотел сказать тебе, – продолжал Георг, рассеянно, но неотрывно следя за стариковскими движениями отца, – что все-таки написал в Петербург о своей помолвке.

Он на секунду за самый краешек извлек конверт из кармана и тут же уронил его обратно.

– В Петербург? – переспросил отец.

– Ну да, моему другу, – пояснил Георг, стараясь перехватить отцовский взгляд. «В магазине-то он совсем не такой, – пронеслось у него в голове. – Вон как расселся, вон как руки на груди скрестил».

– Ну да. Твоему другу, – повторил отец со значением.

– Ты же знаешь, отец, сперва я хотел эту новость от него утаить. По одной только причине: щадил его чувства. Сам знаешь, человек он тяжелый. Вот я и сказал себе: если он прослышит о моей свадьбе от кого-то еще, что при его замкнутом образе жизни маловероятно, тут уж ничего не поделаешь, но сам я покамест ничего сообщать ему не стану.

– А теперь, значит, опять передумал? – проговорил отец, откладывая на подоконник пухлую газету, а на газету очки, которые для верности прикрыв ладонью.

– Да, теперь опять передумал. Я сказал себе: если он мне настоящий друг, то счастье моей помолвки и для него будет счастьем. А коли так, самое время обо всем ему сообщить без околичностей. Только вот, прежде чем письмо отправить, тебе зашел сказать.

– Георг, – проговорил отец, странно распяливая беззубый рот, – послушай-ка меня. Ты зашел по делу, зашел посоветоваться. Что, несомненно, делает тебе честь. Только это пшик и даже хуже, чем пшик, если ты, придя посоветоваться, не говоришь мне всей правды. Не стану касаться вещей, которые к делу не относятся. Хотя после смерти нашей незабвенной, дорогой матери кое-какие некрасивые вещи имели место. Может, еще придет время обсудить и их, причем скорее, чем мы думаем. Я стал кое-что упускать в делах, а может, от меня кое-что и скрывают – хотя сейчас мне не хотелось бы думать, что от меня что-то скрывают, – у меня уже и силы не те, и память не та. Столько дел – я не могу, как раньше, все удержать в голове. Во-первых, годы, с природой не поспоришь, а во-вторых, смерть нашей матушки потрясла меня куда сильнее, чем тебя. Но коль скоро мы обсуждаем это дело, говорим об этом письме, прошу тебя, Георг, не надо меня обманывать. Это ведь мелочь, она не стоит и вздоха, поэтому не обманывай меня. Разве у тебя и вправду есть друг в Петербурге? От растерянности Георг встал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.